

А. ЦВЕТКОВ • ДИВНО МОЛВИТЬ







АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

ДИВНО МОЛВИТЬ

СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ММІ
ПУШКИНСКИЙ ФОНД

ББК 84. Р7
Ц 27

На фронтисписе: фрагмент рисунка
Дуси Слепухиной,
из иллюстраций к стихотворениям А.Цветкова

Марка издательства работы
Сергея Семенова

**СБОРНИК ПЬЕС
ДЛЯ ЖИЗНИ
СОЛО**

1978



Гарь полуночная, спеленутая тишь,
Ревизия пропорций и расценок.
Взойдет луна — и сослепу летишь,
Как комнатная птица, головой в простенок.

В фарватер потемневшего стекла
Врезается рябина отмелью нечеткой.
Вчера пятак весь день ложился на орла.
Сегодня упадет решеткой.

Сегодня будет дождь, на завтрак молоко,
И падалиц в саду пунктирные эскизы.
Озябшая голубизна легко
Осядет в пыль, на стены и карнизы.

Она омоет дом, отрежет все пути,
Скользнет вдоль изгороди в лихорадке танца,
И будешь ты грустна, что вот, нельзя уйти
И тяжело, немислимо остаться.



С перрона сгребают взлохмаченный лед
Настырней мышшиной возни.
Под вымерзшим куполом твой самолет
Зажег бортовые огни.

Гляжу, меж тоской, изначально простой,
И робостью странно двоим,
Как ты, не прощаясь, зеленой звездой
Восходишь над миром моим.

Над темной планетой в артериях рек
Смятенье колеблет весы.
В диспетчерской рубке пульсирует век,
Разъятый на дни и часы.

В прокуренном зале мигает табло.
Из гула растет тишина.
Оконный проем рассекает крыло
На два непохожих окна.

И надо стереть лихорадочный пот
И жизнь расписать навсегда,
Как если б вовеки на мой небосвод
Твоя не всходила звезда.



Бредит небо над голым полем,
И дорога белым-бела.
С обезглавленных колоколен
Облетают колокола.

Опадают, раскинув руки,
И по ниточкам снежных трасс
Одинок блуждают звуки,
Забинтованные до глаз.

Тихой стужей и летом сонным
Под ногами дрожит, пыля,
До краев колокольным звоном
Переполненная земля.



Природа слов тепла не лишена,
В них наши тайны искрами повисли.
Я все отдам за слово «тишина»,
За слово «жизнь» в его прощальном смысле.
В решетку типографского дождя
Заклочены мы, пленники Линнея.
Чем прозвенишь, что скажешь, уходя, —
Все выживет, в фонамах камня.
На будущие вечные дела,
Как сноп кистей, олифу и белила,
Пригоршню слов природа мне дала,
Кровоточащей глоткой наделила.
И чтобы свет сознания не мерк,
Чтоб серый холст не проступил в изъяне,
Гори, гори, словесный фейерверк,
Скрывая бред и сумрак обезьяний!
Как откровенны эти кружева,
Подобно полдню над безлистой чащей.
Плетись, Пегас, пока душа жива,
Вперед и вверх по лестнице звучащей.

ЗВЕЗДНАЯ БАЛЛАДА

В провинции, на тайном полустанке,
Где на путях столетняя зола,
Тоска моя, наставница в отставке,
Забытый след овчаркою взяла.
В мирке пропойц и станционных граций,
Банальнейших ландшафтных декораций,
Закованных в немытое стекло,
Она меня настигла за колонной
И обожгла. И время потекло
Назад и вверх по плоскости наклонной.

Я онемел. И все, что было рядом,
Застыло за магической чертой:
Штиллебен со шрапнельным виноградом,
Скамейка под супружеской четой,
Дежурный в тюбетейке мухоморной,
Саманный храм общественной уборной
С извечными значками на стене.
И только тень растерзанного рая
Стущала соль в отравленной слюне,
Реальность мира удостоверяя.

Во двор, в новорожденный понедельник
Я вышел наболевшей типшиной,
Где три звезды в забавах рукодельных
Веретено крутили надо мной.
В нагорьях дров потрескивали мыши.
Вокзальный садик над зигзагом крыши
Упругие топорщил зеленыя.
Здесь все дышало, ерзало, пыхтело,
И думало, и жило за меня,
Глухой тоске предоставляя тело.

Товарняки текли по гулким жилам,
Шипел в троллеях грозовой накал,
Покуда я транзитным пассажиром
В ночные тайны нехотя вникал.

Землистый мир пакгаузных коробок
Вдоль полотна негаданно бок о бок
Сожительствовал с шатким тростником,
Мой сонный мозг загадками опутав,
Абстрактнейшим раздумьем ни о ком,
Без примеси реальных атрибутов.

Чадили окна духотой казармы,
Молочный пруд светился вдалеке.
И я сжимал, как кукольник базарный,
Тугие нити в потном кулаке,
Как фокусник без должности и места.
В обрывках осторожного норд-веста
Консервной жестью лязгала листва.
Бездомный пес мочился под черешней.
И не было на свете естества
Всесильнее меня и безутешней.

Но в миг, когда душа по бездорожью
Переселялась в новое число,
Огромной ночи тушу носорожью
Вдруг хохотом безумным сотрясло.
Он прокатился с триумфальным воем
Над зыбким, неприкаянным покоем,
Где правил сон бездумно и темно,
Над сетью рек и перелесков дачных
И там, вверху, где три звезды коньячных
Крутили надо мной веретено.

МЕДЛЕННАЯ БАЛЛАДА

Скитались по лестницам, дымно и тяжело,
Отравным «Памиром» давились в углу,
Где облачный свет, как ночная рубашка,
Прозрачным соблазном стекал по стеклу.
На срезах сердец полыхала обида,
И корчился полдень на кромке витка
Экранными бликами в кадре рапида,
Растерянный жест растянув на века.

Жара набухала, как мусорный ящик.
Дымилось перо на литом верстаке,
Черкая бумаги в поток исходящих
С нечаянным матом в казенной строке.
Пузырились гребни бумажного теста,
В курятнике мыслей гнусавил хорек,
Как будто мгновенье не двигалось с места,
Как будто минута текла поперек.

Брели наобум коридорным ущельем,
Сквозь строй турникетов плелись не спеша,
Где сонный вахтер изможденным кощеем
Скупое бессмертие пил из ковша.
Паскудили бронхи автобусным чадом,
В газетном окне наблюдали Вьетнам,
Жевали. И все это было началом
Единственной жизни, позволенной нам.

Ночной циферблат, увеличенный втрое,
Столетие в липах минут на пяток,
Как будто в земной перегретой утробе
Сорвался со шкива ременный поток.
Галантные па напомаженным сукам,
Пол-литра по кругу в подъездной тиши.
Курили. И все это было досугом,
Восторгом, хоть кол на макушке теши.

Качалась луна, облаками перната,
Проскальзывал поезд, как нить с челнока,

Но медлила полночь, как медлит граната,
Когда в кулаке леденеет чека.
Впотьмах предавались минутному счастью.
Толклись на панелях, себе на уме.
И время клонилось к рассветному часу
Так медленномедленномедленном

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА

Юнне Мориц

Когда бы не ветер, тогдашнего хлеще,
Кротом в корневище, ознобом в листву,
Вовек бы не знал любопытнейшей вещи —
Старинного вкуса к земному родству.
Срастаются стебли, взращенные порознь,
Срастаются души в едином труде.
Я родом из Марбурга, поздняя поросль,
Нас двое оттуда в наемной орде.
Строфа не помеха, размер не преграда —
Я жажду, как славы, клейма ретрограда.
Пускай мы сходились от разных планет
И разная дрожь пробегала по коже,
Но слово местами настолько похоже,
Что в выборе предка сомнения нет.

Когда бы не встреча, когда бы не эта
Рельефная запись лозой по листу,
Я был бы в неведение долгие лета,
В забвенье земли, на которой расту.
Я был бы судьбой незавиднее прочих.
Но в ритме дыханья, в отливе строки
Таился знакомый до трепета почерк,
Тончайший прицел предвоенной руки.
Там был перебой в направленьях и модах,
Гостиная-память, где в темных комодах
Невиданно хрупок старинный фаянс.
Там путалась с дерзостью робость оленья.
И долгие ночи я ждал вдохновенья,
Чтоб росчерком сердца скрепить мезальянс.

Ах, сколько б ни бился в излюбленном жанре,
Рожая перуны в десятки кулон, —
Завидно, и хочется впасть в подражанье,
Из груды обломков собрать эталон,
Эскиз Парфенона в прозрении первом, —

Замки посбиваю, покровы сниму.
Каким-то забытым реликтовым нервом
Я, кажется, насмерть прикован к нему.
Там лес парадоксов, там критик в сторожке.
Мы все поначалу кружили в сторонке,
Превыше бесславья страпасаь одного:
Тропы эпигонов, зачумленной зоны.
Но в грозу лиловы глаза и газоны,
И это, бесспорное, в нас от него.

Без ветра в развилке, без молнии меткой
В словесном саду, где аллеи темны,
Я был бы навеки отрубленной веткой,
Побегом плюща у гранитной стены.
Я мог бы секстину, канцону и оду,
Но трезвая совесть с годами скупей.
Наверное, так обретают свободу —
Простым осознаньем врожденных цепей.
Встройне бы мне, Господи, памяти этой,
Где в звездное поле летит эстафетой
Знакомая рифма на тонкой стреле.
В истоптанной почве, под облачной льдиной
Мы крепкого корня, мы крови единой,
Литое бессмертие в нашем стволе.



Дремал на крышах облачный колосс,
Текли машины, не переставая.
Под ободами сплюсненных колес
Нагруженно гудела мостовая.
Мороженщицы прятали возки,
Пестрели лица темными очками,
И дворники носились взапуски
За пыльными газетными клочками.
Пора была и вправду нелегка,
Жила жара в бетоне и железе,
Но все цвело, и пчелы тяжелели,
На ощупь добираясь до летка.

Дышали вербы гарью заводской,
Томила пустота предгрозовая,
А мы с утра сидели за рекой,
Заботы городские забывая.
Товарищи тогдашние мои —
Их имена поди теперь упомни.
И запахи заржавленной хвои,
И солнцепек, до тления упорный,
Тяжелый, ослепительный песок,
И тополя, осыпанные ватой,
И прямо над водой зеленоватой
Мостки из покосившихся досок.

А многое и вспомнить тяжело,
Слабеет свет, и память засыпает.
Кто виноват, что прошлое прошло,
А будущее все не наступает?
Осенним днем присядешь на кровать,
Скользнешь глазами по намокшим крышам,
И хочется рассказывать о бывшем,
О невозвратном вслух повествовать.



Выйди с вечера к ручью
В неутихшем гаме.
Землю теплую, ничью
Выстели шагами.
Песню тихую шепча,
Прислонись к осине,
Подсмотри полет грача
В предзакатной сини.
Светят в сетке камыша
Городские зданья.
Как щемяще хороша
Свежесть увяданья!
Тонких рек живая ртуть,
Листьев тон звучащий, —
Скоро птицам в дальний путь,
За моря и чащи.
Серебрятся облака
В проступивших звездах,
Словно лужи молока,
Пролитого в воздух.
Провисают провода
На столбе высоком.
Скоро времени вода
Повернет к истокам.



Несло осенними пожарами.
Дымилось солнце над дорогой.
И тучи гончими поджарыми
Срывались с привязи нестрогой.
Листва с берез летела стаями,
Как вальдшнепы к поре отстрела,
И утро в щелку между ставнями
Так испытующе смотрело.
Все было в спешке, было некогда,
И рассветало, и смеркалось,
И сетка дождевого невода
Над пыльным городом смыкалась.
Я перегонами проворными
Пересекал шестую зону,
А ты стояла за платформами
В глухом пальто не по сезону.
Дома корбило рогожами,
Кружились ветры оперенно,
И равнодушными прохожими
Слонялись липы у перрона.
И укорял ненужной выдержкой
В холодной жиге законной
Твой дальний взгляд, такой невидящий,
Такой немислимо знакомый.
Дрожал асфальт, блестящий лаково,
Гремела иноходь людская.
И ты, испуганная, плакала,
Меня навеки отпускала.



Снова грозы возводят с ревом
По оврагам свой частокол.
Все, что было цветком и словом,
Стало визгом и чесноком.
Догнивает лазурный полог,
На зрачках — голубой цемент.
Сумасшедший метеоролог
В ожерелье из перфолент,
В летней комнате горьковатой,
Выстилая собой диван,
Я гляжу, как горит экватор,
Поджигая меридиан.
И на глобусе ежедневно,
Словно издан такой закон,
То Малаховка, то Женева
Таёт огненным языком.



Серый коршун планировал к лесу.
Моросило, хлебам не во зло.
Не везло в этот раз Ахиллесеу,
Совершенно ему не везло,
И копье, как свихнувшийся дятел,
Избегало искомых пустот.
То ли силу былую утратил,
То ли Гектор попался не тот.

Не везло Ахиллесеу — и точка.
Черной радуги мокли столпы.
И Терсит, эта винная бочка,
Ухмылялся ему из толпы.
Тишина над судами летела,
Размывала печаль берега.
Все вернее усталого тела
Достигали удары врага.

Как по липкому прелому тесту
Расползались удары меча.
Эта битва текла не по тексту,
Вдохновенный гекзаметр топча.
И печаль переполнила меру,
И по грудь клокотала тоска.
Агамемнон молился Гомеру,
Илиаде молились войска.

Я растягивать притчу не стану,
Исходя вдохновенной слюной.
В это утро к ахейскому стану
Вдохновенье стояло стеной.
Все едино — ни Спарты, ни Трои,
Раскололи кифару и плуг.
Мы одни среди пролитой крови,
Мы одни — посмотрите вокруг.



Входит ветер, года отмечая,
Контролером в трамвайный салон.
И глоток тепловатого чая
Достоверней меня за столом.
Теплый ветер держу на ладони,
Пробужденному телу не рад.
Тишины естество молодое
Убедительней тысячекрат.
Здесь не место растерянной злости,
Просто был я до времени глух.
Летний воздух торопится в гости
Исповедовать мышцы и кости,
Перекраивать зренье и слух.

Неспроста моя кожа землиста
И рассудок в смертельном пике.
В этом теле душа казуиста
Квартирует на скудном пайке.
Ей полезней пожить самотеком,
Не загадывать жизнь далеко,
И на кухне из чашки с котенком
Выпивать по утрам молоко.
В хлебном поле в канун изобилья
Не нащупаешь торной стези.
У гармонии тяжкие крылья,
Терпеливая поступь кобыля
И копыта в ноябрьской грязи.



И вновь, через годы, без боли и гнева,
Под северным небом нагим,
Прощай, моя участь, волшебница Ева,
Легко ли тебе за другим?
Ни строчки упрека, ни слова протеста —
Так пасмурно было вдвоем.
И нет в моем сердце вакантного места,
И нет его в сердце твоём.

Прощай, моя робость, украдка ночная,
Грозы говорливый перун
В том ласковом мире, где, жить начиная,
Я песней срывался со струн.
Где бережный шепот ресниц и вязанья,
Кольцо соколиных погонь,
Вечерних прогулок тропинка фазанья,
Зрачков обоюдный огонь.

Без соли в глазах, золотая свобода,
Без риска остаться одной, —
Спасибо за свет с твоего небосвода,
За воздух в решетке грудной.
Мне впору твой профиль на облаке высечь,
Чтоб памяти проще жилось.
Спасибо за имя твое среди тысяч,
За цвет отшумевших волос.

Прощай, моя вера. За синим Уралом
Закат растворил города,
И медленный год в этом воздухе алом
Лицо твое стер навсегда,
Чтоб новая жизнь поднималась и крепла
На смену ушедшей сестре.
Прощай, моя молодость, феникс из пепла,
Зеленая ветка в костре.



Разлуки истовые свечи
В сердцах пылают до венка.
Уже пароль повторной встречи
Впечатан в нашу ДНК.

Сознание лопасти и снасти
Расправит в области иной,
И будет совестно отчасти,
Что мы грядущему виной.

Учись искусству прототипа
До пресечения колеи,
Чтоб кривизной не прохватило
Тебя и оттиски твои.

Останься ветренным и свежим
До генетических глубин,
Подобно телу над манежем,
Когда отстегнут карабин.



Опять в фаворе транспорт водный,
Готовы склянки для битья.
Весенний лес полуголодный
Пронзает пленку забытья.

Меж берегов расправлен снова
Сирены судорожный вой.
Так недосказанное слово
В щели блуждает горловой.

Парок струится ядовитый,
И судно резвое бежит
Туда, где сонный Ледовитый
В хрустящей корочке лежит.

И сладко жизни продвигаться
По свету из конца в конец
Судами ранних навигаций
В синхронной музыке сердец.



Руки вымыты, морды гладки,
Все в кондиции, как скоты.
Ожидание неполадки,
Наступление пустоты.
Я влетел, как ослепший кролик,
В водопаде шампанских брызг,
В этот мир, штормовой до колик,
В этот зимний собачий визг.
Бронтозавры в кустах лещины
Состязаются, дребезжа.
Предвкушение чертовщины,
Состояние миража.
Вперемежку бонтон и косность,
Респектабельные стишки.
Но жгутом пролегает космос
От зубов до прямой кишки.
Некто сумрачный из пеласгов,
Злобовержец с рионских круч.
Вестник времени, как неласков
Шелестящий закатный луч.
Здесь от Яузы до Фонтанки
Я растекся по мостовой.
И трясет меня, как в фанданго,
Каждой клеточкой и фалангой,
Каждой веною мозговой.



Здравствуй, ветер, сентябрьский повеса,
Истребитель незрелых идей.
Это мох ураганного леса,
Где с пилой ворожит Фарадей.
Светлый день ощутимо недолог,
Но не гаснет в строке назывной
Этой ночи отчетливый полог,
Этот ветер, степной антрополог,
Учредитель погоды земной.

Как вода в горловине пролива,
Серебрится текучий азот.
Это жизнь в сентябре тороплива,
Словно под гору санки везет.
Это ветер срывает иконы
В пятистенке забытой любви.
У природы иные законы:
Здравствуй, облако, будем знакомы,
Только имя твое назови.

Нелегко над осеннею бездной,
Где с маршрута спшибает тела,
Ощутить себя вещью полезной,
Средоточьем души и тепла.
То ли воздуха больше на свете,
То ли камня исчерпан резерв.
На заре занимается ветер,
И оборванный провод в кювете —
Словно в сердце оборванный нерв.



На лавочке у парковой опушки,
Где мокнет мох в тенистых уголках,
С утра сидят стеклянные старушки
С вязанием в морщинистых руках.
Мне по душе их спорая работа,
Крылатых спиц стремительная вязь.
Я в этом сне разыскивал кого-то,
И вот на них гляжу, остановясь.
Одна клубки распутывает лихо,
Другая вяжет, всматриваясь вдаль,
А третья, как заправская портниха,
Аршинных ножниц стискивает сталь.

Мгновение неслышно пролетело,
Дымок подернул времени жерло.
Но вдруг они на миг прервали дело
И на меня взглянули тяжело.
В пустых зрачках сквозила скорбь немая,
Квадраты лиц — белее полотна.
И вспомнил я, еще не понимая,
Их греческие злые имена.
Они глядели, сумеречно сияясь
Повременить, помедлить, изменить,
Но эта, третья, странно покосилась
И разрубила спутанную нить.



На пригород падает ласковый сон,
Желаний прозрачная завязь.
Латунные листья звенят в унисон,
Луны напряженно касаясь.
По горло окутал дощатый барак
Стекающий с крыши муаровый мрак.

Задвинута память на прочный засов,
Спокойные мысли короче.
Все реже и реже огни голосов
Мигают в безмолвии ночи.
И кажется, ветер неслышно зовет:
Останься на месте, усни без забот.

Запугались звезды в седом волокне,
И некуда дню торопиться.
Чего же ты ищешь в погасшем окне,
Ночная ворчливая птица?
Зачем ты с разлета ныряешь в стекло
И крыльями бьешь тяжело, тяжело?

Покой у порога, невидимый гость
Заезжим зовет одноверцем.
Но дух несогласия, яростный гвоздь,
Таишь ты под зябнущим сердцем.
И светится в лужах ночная вода.
А сердце стучит: никогда, никогда.



Что касается любви — малярия мне знакома.
Относительно весны, эскалаторов метро —
Убедительно прошу: объявите вне закона.
Что-то важное в бегах, что-то лучшее мертво.
Относительно весны — если есть над нами боги,
Я просил бы страшных зим, остроты минувшей боли,
Светопреставленья, что ли, — как ваш май неотразим!

Относительно стихов — эти будут не из лучших,
Не светиться, а зиять, как изнаночные швы.
Всю бы искренность сменял на любви мельчайший лучик.
Поражение за мной, победитель — это вы.
Кто приостановит бред, кто растопит ветер снежный?
Видно, кто-нибудь из вас, доверительный и нежный,
Там, на площади Манежной, здесь — открывши на ночь газ.

Что касается души, относительно болота,
Обращающего в торф сотворенное расти, —
С приземленьем, шер ами, с окончанием полета,
С наступлением весны, с карамелькою в горсти!
Потолкайся меж людей, на вокзале, у парома:
Выбирают перемет в легкую ладью Харона,
Чей-то поезд у перрона, птиц осенний перелет.



эти женщины в окне
торопливые соблазны
все движения в огне
предварительно согласны
пальцы липкие по шву
губ лекарственная сода
я не знаю чем живу
это лето без исхода
этот пагубный июль
с обольщением проворным
словно горсточка пилюль
с легким действием снотворным
снова окна через двор
звездной россыпью привычной
скоротечный уговор
царство похоти первичной
небосвод в глазной воде
недоверчивая шалость
никому никто нигде
отказаться соглашаясь



Как небо над заводью, сердце, замри,
Течение стрекоз не нарушь.
У Господа Бога на пядь земли
Колонна проектных душ.
Он снимет заступом пласт земной,
Столетия обнажив.
Но как же, Господи, быть со мной,
Который покуда жив?

Богаче óтчего дом не строй —
Обиднее погоришь.
Вот так муравьи не меняют строй
И птицы в просветах крыш.
Уже огонь по всей стене,
Из мертвых глаз дымок.
Но что вы скажете обо мне,
Что сам я сказать не мог?

Без веры клянчит усталый дух,
У врат шелестя сумой,
Такую жизнь, чтоб дороже двух,
Богаче себя самой.
Я помню землю моих поэм,
Я пел у ее огня.
Но что изменить, если сплю и ем,
А кажется — нет меня?

ЦИРК

Контрамарка в антракте, и в огненном перце
Темно-бурое небо над пеной пивной.
И опять, на невидимых нитях трапеций,
В нарочитой улыбке, к партнеру спиной.
Вот истошным туманом нейроны окутал
Медногорлый оркестр, и с размаху назад,
В поединке иллюзий, раскрашенных кукол,
С деревянных сидений глядящих под купол
И других, что под куполом чутко скользят.

Тишина, как ребенок, наморщила лобик,
Небывалой жар-птицей расправила хвост.
Мы — одно естество, лицедей и поклонник,
Многорукое тело под куполом звезд.
Вот напрягся один в помешательстве жабьем,
Вот ужимкой ужа изогнулся другой —
Так глядим друг на друга с немым обожаньем,
Кто скамью истирая в убожестве жалком,
Кто, как бог, высоту рассекая дугой.

Здесь годами бок о бок кружат безрассудно
Наши тайные страсти до спазма в кистях.
Мы уйдем до финала — одни от инсульта,
А другие — в опилках ломая костяк.
Мы поднимемся вновь, от Москвы до Ямайки,
Говорливой рекою затопим шатер,
Мы поднимемся вновь, ядовитые маки,
В раскаленных ладонях зажав контрамарки,
Как одно естество — человек и актер.

ЦАРЕВИЧ

Тощий призрак лицом из мела,
Мертвый ужас под потолком.
Государственная измена,
Обвинительный протокол.

Пляшут нервы — полундра, дескать, —
В утомленных речах разлад.
Из угла венценосный деспот,
Как базуку, наводит взгляд.

Не упорствуй в аффекте кротком,
Не томи, как осенний дождь.
Скоро, скоро под подбородком
Тела прежнего не найдешь.

Только призрак прозрачной воска,
Только пленка над пустотой —
Мой прообраз, безумный тезка,
Изолгавшийся и святой.

Государь нашумел для шика,
Царство ситечком процедив.
Он провидец, а ты — ошибка,
Возмутительный рецидив.

Скоро, вышколены и юрки,
Повылазят в людской содом
Корсиканцы, рубаки, урки,
Не представшие перед судом.

И над миром свинцовой льдиной
Прогремит в облаках, трубя,
Католический, триединый,
Отступившийся от тебя.

Воют ветры в солдатских ранцах —
То-то маршалов напекли.

А наследники в оборванцах
Ошиваются до петли.

За стеной до озноба сыро,
И, как прежде, недалеко
Синекура царского сына
От вакансии дурака.

НЕВСКИЙ ТРИПТИХ

I

Дальше к западу гулкие стены,
Переплеты асфальтовых жил.
Так простимся по-доброму с теми,
Кто в отчизне меча не сложил.
Злобный ветер провыл над Сенатской,
Над сугробами воска-сырца.
Стали ментики — рванью солдатской,
Темным торфом — живые сердца.

Этот бич просвистел не случайно,
Никому не уйти от судьбы.
Вдоль дорог от Невы до Сучана
Черепя украшают столбы.
Провода запевают тугие,
Темный ливень с гранитной скулы.
Над лесами звенят литургии,
До небес полыхают стволы.

Дальше к западу зимнее небо,
Терема из костей возвели.
Я прошел этим городом гнева
От вокзала до края земли.
Я возник из декабрьской метели
С поцелуем судьбы на виске.
И столетние гвозди кряхтели
Подо мной в эшафотной доске.

II

Лунный ливень по выгнутым шеям,
Горький камень под крупом коня.
В этой бронзе и в камне замшелом
Не сыскать нас до судного дня.
Острова неподвижны и хмуры
В пароксизме корыстной тоски.

Мы — глазастое племя, лемуры,
Совестливого студня мазки.

Вьется облако раненой птицей,
На стволах — золотая пыльца.
Я устал от ночных репетиций
Леденящего душу конца.
Самолетик с серебряной ниткой
Пауком над фабричной трубой.
На рассвете у стрелки гранитной
Флегетона свинцовый прибор.

Ночь без пороха, дым без движенья,
Крик без голоса, выстрел ничей,
Как Помпеи в канун изверженья
С пересветом стеклянных очей.
Так смотри же до гибели зренья:
Нежный пепел ложится вокруг,
И мостов разведенные звенья —
Словно взмах остывающих рук.

III

Будь ты Иов собой или Каин —
Это имя сгорит между строк.
Человек обращается в камень,
Продлевается городу срок.
Пирамиды в удел знаменитым,
Некрологи в осьмушку листа.
Мы останемся невским гранитом
И чугунным скелетом моста.

Сентября колдовские парады,
С молотка пожелтевший товар.
Ты стоишь у садовой ограды,
По колени уйдя в тротуар.
Жухлый мрамор, сезонная раса,
Литосферы трагический гнет.
Нас оденут в листы плексигласа —
Только осень сильнее дохнет.

Фосфористые иглы бизаней,
Тишины нежилой водоем.

Раствори меня, рай обезьяний,
В неподатливом камне своем.
Над заливом — туман осторожный,
Над Васильевским — свод листвоной.
Уложи меня, мастер дорожный,
В основанье твоей мостовой.



Подходит лето. Шаг его негромок.
В сетях сирени зыбкий аквилон.
Живое сердце рвется из постромок,
Телегу лет толкая под уклон.

В щемящий час, сирени, как вахтерше,
Вручая ключ от радости земной,
Вдруг ощутишь, что нет утраты горше,
Чем перевал, лежащий за спиной.

Прости мне соль, что к памяти налипла, —
Второй судьбы вовеки не иметь.
Над всем столетьем вздрагивает хрипло
Зари заката духовая медь.

Быть может, все, что в силах удержать я,
Влача в секрете по составам лет, —
Улыбка глаз, тепло рукопожатья
И поцелуя выветренный след.



У лавки табачной и винной
В прозрачном осеннем саду
Ребенок стоит неповинный,
Улыбку держа на виду.
Скажи мне, товарищ ребенок,
Игрушка природных страстей,
Зачем среди тонких рябинок
Стоишь ты с улыбкой своей?
Умен ты, видать, не по росту,
Но все ж, ничего не тая,
Ответь, симпатичный подросток,
Что значит улыбка твоя?

И тихо дитя отвечает:
С признаньем своим не спеши.
Улыбка моя означает
Неразвитость детской души.
Я вырасту жертвой бессонниц,
С прозрачной ледышкой внутри.
Ступай же домой, незнакомец,
И слезы свои оботри.



Надвигается вечер, стахановец в темном забое.
Исполняется время, судьбой запасенное впрок.
Прежде сумерек свет — остальное не стоит заботы,
Только б свету над нами гореть установленный срок.

Скоро спрячется мир под широкую лопасть прилива.
Наши нежные лица от прожитой жизни черны.
В этот солнечный миг даже кровь в наших венах пуглива,
И спидометр сердца дрожит у граничной черты.

Я прощу себе детство (а жизни уже половина),
Затянувшихся игр обращенные к небу дворы.
Успокойся, малыш, неудача твоя поправима,
Только б верхнему свету не гаснуть до смертной поры.

И покуда земля не сойдет с журавлиной орбиты
И февральский закат не расколется, медно звеня,
Надо бережно жить, не тая ни вражды, ни обиды,
Как бывает во сне после долгого летнего дня.

Чтобы веру иметь и любовь находить непохожей,
Хлопотливым народам и каждому на одного,
Нам от Бога нужна только звездочка пульса под кожей
И, наверное, свет, потому что темно без него.



Я хотел бы писать на латыни,
Чтоб словам умирать молодыми
С немотой в тускуланских глазах
Девятнадцать столетий назад.

На три пяди рассудок распахан,
И березы по краю стеной,
Чтобы ветер в секунду распада
Заворачивал ток временной.

Мы айдово племя и только,
Сотворенному жить не судьба.
Я за тех, кто растет без итога,
Параллельно и против себя.

От юнца до замшелого деда
В бонапарты глядят простаки.
У фортуны известное дело —
Колесо летописной строки.

Оставайся полынью и злаком,
В мире фауны каждый не прав,
И пиши с отрицательным знаком
Языком вымирающих трав.



Б. Кенжееву

Опять суетливый Коперник
Меняет орбиту мою.
Спасибо, мой добрый соперник,
За память в далеком краю.

Поверить — не значит смириться,
Надежда не знает стыда.
Со мной ваши прежние лица
И лучшие дни навсегда.

Мне выпало жить, не умея,
В эпохи крутой перелом,
Но мудрая тень Птолемея
Сидела со мной за столом.

Оставим навеки друг другу
Тот мир за железной рекой,
Где солнце ходило по кругу
И звезды хранили покой.

Нальем за рожденную в споре,
Нечаянных ссор не тая,
За дружбу, которая вскоре
Вернется на круги своя.



Каждый злак земли подо мной
Наделен ощущеньем меры,
Каждый паводок, всякий гром.
Наступленье умеренной эры
Ощущается всем нутром.
Не расти по оврагам лесу,
По шоссе не бежать ручью.
Соглашаемся на ничью.

К прежним играм вкус утрачен
Навсегда, и жребий лег на ребро.
В кошельках звенит серебро,
Кирпичом проезд обозначен.
Нет ни золота, ни алой меди.
Землеройки в погребе перевелись,
Передохли медведи,
Воцарились заяц, лиса и рысь.

Мы сошьем гнездо
Меж Евфратом и Стиксом, адом и раем.
Пару соток под застройку,
Под огурцы отвели.
В детских сказках тарпаны и туры
Копытами мнут ковыли.
Мы остались в пустом кинозале,
Костер развели,
Вымираем.

Наступает эра коттеджей,
МалOVERов и медиан.
Шепетовский меридиан.



В мокрых сумерках осенних
Постучится у крыльца
Неотвязный собеседник,
Тень без тела и лица.

Сестры тихие в палате,
Темный сок из-под бинтов.
Я спущусь к нему в халате:
Извините — не готов.

Он пером почешет в ухе,
Словно веником в шкафу,
Зачеркнет в своем грессбухе
Надлежащую графу.

Скрипнет свежая перчатка,
Дробный дождик по плащу:
Извините — опечатка;
Будет время — навещу.

Утром кровь на ревмопробу,
В вене светлая игла,
Долгий путь чужому гробу
Мимо сквера до угла.



В горький снег окуну рукавицы,
В зону ночи войду напролом.
Потемнело стекло роговицы —
Ни звезды под вороньим крылом.

На засовах заботы дневные,
Шепот сердца едва уловим.
Тишины потолки ледяные
Над ослепшим жильцом угловым.

Окружен голубыми ужами,
С большеглазым лицом малыша,
Я стою в аккуратной пижаме,
Оглянуться боюсь, не дыша.

Всем живым, что болит в человеке,
Мы затихнем с пургой заодно.
Это время проходит навеки —
Никогда не проходит оно.



Тихий звон в мановение мига,
Вздрогнул анкер на полном скаку.
За жильцов ежедневного мира,
За анкет волевою строку.
Доцветает оконная рама,
И граненые стопки тверды
В снисходительном визге бурана,
В снежном сердце кипчакской орды.

Это полночь, раскосая дева,
В канители стоит зелена,
Целина состраданья и гнева,
Первобытных умов целина.
Плачет молодость в бубне шаманском,
Подмерзающий год неглубок.
Полстраны по колено в шампанском,
И с маслиной летит голубок.

Новый срок под лихую погоду
В тихом блеске грядет из монгол.
Этот Гринвич проходит по горлу,
Отсекая сердца от мозгов.
Но без ропота, тенью повинной
Под январское небо войду.
Мой обрубок с твоей половиной
Сочленится в минувшем году.



Рассудок — это слишком резко,
Не обойдешься головой.
В ней много вычурного треска,
Унылой сниси мозговой.

У нас в ходу ланцет и призма,
Но суть разъятая бедна.
Под черным камнем силлогизма
Вся истина погребена.

Быть может, гордая наука
Для лучшей жизни хороша,
Где царство тяжести и звука,
И время длится не спеша.

А в нашем космосе ответом,
Чей смысл сквозь вещи не пророс,
Ты сам старайся быть ответом
На свой незаданный вопрос.



Третий день человек растерян,
И прогноз деловито прост:
Ожидается бунт растений,
Древесины попятный рост.

Он рассеялся в пыль как будто,
По окрестным полям кружа.
Он живет в ожиданье бунта,
Недорода и падежа.

Больше злаки не выйдут в колос,
Будет дуб толщиной в волос,
Эвкалипты — травой лечебной,
Не крупнее луковых стрел.

Но тревога была учебной,
И ячмень аккуратно зрел.
Человек воскрешен из праха,
Сеет новые семена.
Но живет в ожиданье страха
И дает ему имена.



Горящий контакт разомкнулся в груди,
И я не расслышал твое «уходи».

Минутный Тангейзер, салонный ломака,
Летучих страстей заводной инструмент.
Но луч рикошетный в периметре мрака
И древних обоев сквозной позумент
Впечатали в кровь терпеливые ласки:
Так держит олифа столетние краски
И камни руин — отвердевший цемент.

Предутренный свет рассекает слюда
Неловко, на два непохожих подобья.
Мое «до свиданья» — твое «навсегда».
В твоей нагоде не оставил следа
Мой жадный, мой бережный взгляд исподлобья.

Я знаю: тогда, в петроградском дворе
Сработал закон хромосомного кода.
Мы только фигуры в великой игре.
Нас день уберег от неверного хода.
Но крепок раствор, и доныне во мне
Расколотый камень в цементной броне.



Внедряя в обиход ночную смену суток,
Где голый циферблат смыкается в кольцо,
Мы окунаем жизнь в голубоокий сумрак,
Чтоб утром воссоздать повадку и лицо.

И то, что в нас живет, и то, что дышит нами
От вязки пуповин до выдоха в ничто,
По скудости души мы именуем снами,
С молодых ногтей в мозгу построив решето.

Тому, кто будет мной, когда меня не станет,
Я завещаю речь, голубоокий свет
В краю, где сон и явь меняются местами
И выверен итог в столбцах житейских смет.

Я понял твой урок, сновидческая раса,
Пронзая сферу сна, как лазерный рубин.
Я — спящий часовой предутреннего часа,
В котором светлый день возводят из руин.



Когда скворцов опасливая стая
Раскинется над нами чередой,
Материя нездешнего состава
Заговорит в коробке черепной.
С подобным соглядатаем извольте
Крутить мозги малаховской изольде,
Анапестом тетрадку линовать
В ольшанике, где лето на излете,
И вскоре снег, и льда не миновать.

Один недуг — бессонница, цинга ли —
Агония сентябрьского тепла,
Когда деревья, дачные цыгане,
Выпрастывают темные тела.
Окончен праздник, птичий и медвежий.
Уходит лето с топких побережий,
Как из ладоней трепетная ртуть.
И человек, как табор переезжий,
Внутри себя прокладывает путь.

На даче снег, вороний скрип холодный, —
Нырнуть в постель и отоспаться всласть.
Но человек на зимний лов подледный
Заботливо отлаживает снасть.
Он сам придумал зимнее уженье,
Он видит жизни тайное движенье,
Под коркой льда набухшее зерно.
Он смысл земли, ее изображение,
Творения последнее звено.



К чертям контрапункты — трагедия ищет азов.
Срастаются губы, как будто язык арестован,
Но плоть на трибуне, и плоти отчетливый зов
Толпе абонентов на равных паях адресован.

Но плоть у шлагбаума, вечен проклятый вопрос.
В таких постулатах душе уготована гибель.
Из корня Евклида изысканный Риман возрос,
Но в почву Эллады вернулся пресыщенный Гильберт.

Душа суверенна в свиданиях жил и костей,
Но стиснута плотью, и нами забыта постольку.
И надо воздвигнуть по калькам античных страстей
Из пепла теорий — любви роковую постройку.



Ни лица, ни голоса больше,
Телефонный набор имен.
Все измерено, все как в Польше, —
Договаривай, кто умен.
Больше в упряжи не балуем,
Поздней мудрости пьем бальзам.
Прежде в сумерках поцелуем —
Нынче лезвием по глазам.
Звезды осени, горки пепла,
По затмению на любой,
С той поры, как любовь ослепла,
Только ненависть на убой.
Жутко, Господи, одиноко,
Словно в моечной пиджаку,
Словно в сельве над Ориноко
Комсомольскому вожаку.



Полыньями в алую кайму
Ледостав по травяному ложу.
Шорохом звезды не потревожу,
Окликом не выдам никому.
Тень моя колыхнется неловко,
Словно строк попарная рифмовка
В широте Гомеровых морей,
Становясь прозрачней и мудрей.

Из окна, из белого квадрата,
Где сосна струится наотвес,
Я сойду, как пращур мой когда-то,
В пустоту сиреневых небес,
В незапятнанное междуречье,
Чтоб молвы туда не донесло
Из долин, где тело человежье
Продолжает жизни ремесло.

КАМЕННАЯ БАЛЛАДА

Пока я по свету брожу, получем
От водки, в железном плену обихода,
Как тысячи лет до меня Полифем,
Пока за околицей спит непогода,
И мы в луна-парках, безумно горды,
Досуг предаем соловьям и гвоздикам,
Планета о камне поет безъязыком
Шершавым размером моренной гряды.

Обрыв, на который еще малышом
Я вышел в наследственном праве потомка,
Уходит во мрак, где торчат нагишом
Поющие скалы из пены потока.
Мы в рай обратили земной майорат,
Но нет нашей воли в кромешных глубинах,
Где долгие мили камней нелюбимых
О каменной жизни впотьмах говорят.

Я верю в упорство древесных корней,
Где высшая ставка на каждую почку.
Но как отыскать среди темных камней
Для бережной жизни надежную почву?
Их мертвый порядок с живым незнаком.
От наших теорий гранит не умнеет,
А смертное горло пропеть не умеет
Мелодию камня своим языком.

Мы женщин целуем у жухлых осин,
Отборной пшеницей поля засеваем,
Мы строим заводы, мы жжем керосин,
И ногти стрижем, и друзей забываем.
Мы пленные овцы, загон на замке,
Не ведаем смысла закатного блика.
Планета дрожит от беззвучного крика,
А мы говорим на своем языке.

В осенних садах опадает листва,
Растут поколения с упорством недужным,
Но смертное тело не знает родства
С плитой диорита, с базальтом наружным.
Беснуется магма в земном позвонке,
Алмазная месса звенит перед Богом,
Поющие камни идут по дорогам —
А мы говорим на своем языке.



Курносая тень принимает швартовы.
Дыхания больше не трать.
Летит наше время, но мы не готовы —
С какой стороны умирать?

Шуршат под ногами колючие злаки,
Со стеблей летят семена.
Нас жизни учили дорожные знаки,
А здесь — навсегда целина.

Курносая тень, соименница ночи,
Зачем твое поле мертво?
Вчера еще девушек тихие очи
Меня согревали в метро.

Я жизни отмерил смертельную дозу,
Избытком ума не греша.
Я голым пришел к твоему перевозу,
Не взявши с собой ни гроша.



Полуживу — полуиграю,
Бумагу перышком мараю,
Вожу неопытной рукой.
Вот это — лес. Вот это — речка.
Двуногий символ человечка.
И ночь. И звезды над рекой.

Дыши, мой маленький уродец,
Бумажных стран первопроходец,
Молись развесистой звезде.
Тиха тропа твоя ночная,
Вода не движется речная
И лес в линованной воде.

Я сам под звездами немею,
Полухочу — полуумею,
Прозрачный, маленький такой,
С тех пор, как неумелый кто-то
Меня на листике блокнота
Изобразил живой рукой.



Судьба играет человеком
До смертной сырости на лбу.
Но человек берет из шкафа
Свою красивую трубу.

Она лежит в его ладонях,
Умелой тяжестью легка,
И полыхают над эстрадой
Ее латунные бока.

Как он живет, как он играет
В приемной Страшного Суда!
Он в каждой песне умирает
И выживает навсегда.

Он звездной родиной заброшен
На землю драки ножевой,
Такой потерянный и детский,
Еще живой, еще живой.

ПРОЩАНИЕ ГЕКТОРА С АНДРОМАХОЙ

Автор

Породу предам человечью,
Несметную силу страны
За космос, пронизанный речью,
Как светом речные стволы.
Чтоб медное сердце знобило,
Сшибая волной голыши,
Чтоб слово мне музыкой было,
А зрение — слухом души.

Гектор

Ты не любовь, ты памятник любви.
Припомни, как уверенно жестоки
Чеканные провидческие строки,
Звенящие от Чили до Литвы.
Ты — выдержка из греческих грамматик.
Еще не раз напыщенный романтик
Превознесет оружие врага,
Когда рапсодов бешеная раса
В утробе деревянного пегаса
Возьмет обманом Скейские врата.

К чему слова — они уже канон.
Предайся блуду, псам швырни ребенка!
Уже времен тяжелая гребенка
Над порослью Приамовых колонн.
Есть фабула, и нам не сладить с нею.
Я даже струсить вовремя не смею,
Хоть до кости душа обнажена.
Я буду кровью на прибрежном камне.
Моя царевна, ты уже вдова мне,
С тех пор, как трупу моему жена.

Андромаха

Я знаю все — но я еще жива.
Я умерла — но я уже другая,
Пока размера мельница тугая
Ворочает над нами жернова.
Мной овладеют недруги — ну что же,
Еще стоит разостланное ложе,
Твоей любви дыхание храня.
Пускай ты предан греческому зверю —
Прощальный миг мне возместит потерю.
Я женщина, я ничему не верю,
Сложи свой щит и поцелуй меня!

ПЛАЧ АНДРОМАХИ

Выпрямлены звездные спирали,
Время перехвачено в пути.
По рисунку солнце собирали —
Главного осколка не найти.
Словно стаю подняли сорочью —
Чернота щербатая крепка.
Что мне делать этой долгой ночью
Без единственного черепка?

В зеркалах нахмурилась обида.
Где же я, лицо мое не то.
Протяни мне душу из Аида —
Я слаба — а ты уже никто.
Или для небесных уложений
Жизнь моя чрезмерно тяжела?
Или семикратный уроженец
Лжет, и я вовеки не жила?

Не вчера ли нам солнце ударило в лица обоим?
(Разве воин твой брат — он не в силах поднять и метлы!)
Не вчера ли тебе я дитя поднесла перед боем?
(Наши стены падут, наши лучшие люди мертвы.)
Я припомнила все, мне доносов Кассандры не надо.
Я царевна твоя, Андромаха, твоя Илиада.

Измените освещение сцены,
Белый в круг, к партеру голубой.
Мы опять взойдем на эти стены
Наблюдать оттуда за тобой.
Кораблей, что в летней луже дафний.
В ожиданье замерли враги.
Выходи, мой завтрашний, мой давний.
Господи, он целится — беги!



В стороне, что веками богата,
Подытожив земные года,
На поляне лежал Татхагата,
Перед тем как уйти в никуда.
Шепот смерти звучал, как команда.
Белый свет затмевался и гас.
И спросил его верный Ананда:
«Почему ты уходишь от нас?»

И ответил ему, умирая,
Татхагата: «Мой брат и слуга,
Посмотри, как из южного края
Возвращаются птицы в снега.
Мы избегнем пожизненной казни
За чертой, где молчанье бело,
Если сердце не знает боязни,
Если в воздухе держит крыло».



Лучше за три сибирские Леты,
Через тундровый мак навсегда,
Где ведут юкагиры и кеты
Протокол выездного суда,
Где за нерпой тотема в трехмесячный мрак
Персефона стремится умиак.

Темнотой окольцованы годы,
Нет весов для сравнения заслуг.
Ремесло подневольной свободы,
Нелюбви терпеливый досуг.
Басилевсу — тавро, колесница — рабу;
К одному нас поставят столбу.

Я и мертвый спрошу о немногом,
Если к судьям прорваться смогу:
Для чего мы устроены Богом
Без аршина и фунта в мозгу?
Нам отмерили век серебро и свинец.
Что же выпадет нам под конец?



Жил на свете мальчик детский,
Лыко плотное вязал.
Уходил на Павелецкий,
На Савеловский вокзал.

Надевал носки и брюки,
Над вопросами потел.
Все пытался по науке,
Все по-умному хотел.

Тряс кровать соседской дочке,
Тратил медные гроши.
Все искал опорной точки
В тонком воздухе души.

Этот мальчик философский
В суете научных дней
Стал умен, как Склифосовский,
Даже, видимо, умней.

Но не смог он убедиться,
Мозгом бережным юля,
Как летать умеет птица
Без мотора и руля.

Так давайте дружным хором
Песню детскую споем,
Как летает птица ворон
В тонком воздухе своем.



Все будет иначе гораздо,
Намеренно вряд ли совру:
За крайней чертою маразма
Поставят иную страну.
Военную спрячут секиру,
Напишут закон без затей,
И добрые матери миру
Родят ясноглазых детей.

Но в жизни по Божьим канонам
Течение времен таково,
Что в этом содружестве новом
Не вспомнят из нас никого.
И здорово кто-то обижен,
Усердствуя в поте лица,
Что память о скудости хижин
Исчезнет в достатке дворца.

Быть может, я жил небогато,
С плодами любви незнаком,
И муза, страшна и рогата,
Ходила за мной с узелком.
Мне было любить не под силу,
В расцвете души молодом,
Холодную тетку Россию
И ветра пожизненный дом.

Но я не духовные гимны —
Военные песни пою.
И строки мои анонимны,
Как войны в смертном бою.
Я вырос в скрещенье потоков,
Где кожа с души сведена.
Я сам, с позволенья потомков,
Срываю с себя ордена.

1

Жжет мои руки чужая жаровня,
 Нет очага моему шалашу.
 Кто ж я такой, что живому не ровня,
 Теплой добычи в гнездо не пошу?
 Войска мне стоила эта победа,
 Словно я ужин проспал до обеда,
 Ловкий орел окрутил Ганимеда —
 Прячась в тени, подневольный гордец.
 Топают по снегу девочка Даша,
 Женщина Крава под ношей ягдташа
 С легким трофеем вечерних сердец.

Зябко мне гостем у зимних жаровен,
 В пламени сердца душа не видна.
 Что мне утечи, что я невиновен,
 В жизни, где совести стоит вина?
 Евнуху поздно идти в моралисты.
 Руки мои холодны и безлисты,
 В сетунской роще январь наголо.
 Женщина девочке пальчики греет,
 Мертвое дерево в воздухе реет,
 В синем снегу — неживое крыло.

Здесь я записан в древесную касту,
 Зимней березой стою, не дыша.
 В сетунской роще по тонкому насту
 Бережной девочкой ходит душа.
 Легкие годы звенят моментальной,
 Кружево снега несется над спальней,
 Катится поезд в глубоком логу.
 Светлая женщина в комнате дальней
 Сердце березы несет к очагу.

2

Под взглядом твоим голубиным
 Мне, кажется, только одно

Умение быть нелюбимым
Помимо таланта дано.
Я буду чужим человеком,
Взаимности призрак гоня.
Я сяду писать вадемекум
Для жизни твоей без меня.

Я стану пожизненной тенью,
Забуду свое ремесло
И буду подобен растенью,
Которое в землю вросло.
Живут же без боли камня,
Глотая простор голубой.
Не надо мне выше умения,
Чем быть не любимым тобой.

Уйду в насекомое царство,
Травой расстелюсь на лугу.
Мне дружба твоя не лекарство,
А большего сметь не могу.
И грустно мне будет порою,
Что в мире, где ты молода,
Я дерево с горькой корою,
Не давшее миру плода.

3

И когда меня Бог Моисея
Подведет к моему рубежу,
Я любви непроросшее семя
У престола Его положу.

Я скажу Ему: «Господи правый!
Хоть и жил я спустя рукава,
Награди меня женщиной Кравой,
Если воля Твоя такова.

Я охотно Тебе растолкую,
Как красива она и добра.
Сотвори мне вторую такую
Из рассекшего сердце ребра!»



Зачем же ласточки старались?
Над чем работали стрижи?
Так быстро в воздухе стирались
Тончайших крыльев чертежи.
Так ясно в воздухе рябило —
И вот попробуй, перечти.
Так моментально это было —
Как будто не было почти.

И мы вот так же для кого-то
Плели в полете кружева.
Но крыльев тонкая работа
Недолго в воздухе жива.
К чему пророческие позы
Над измусоленным листом?
Мы только ласточки без пользы
В ничейном воздухе пустом.



С. Гандлевскому

Ах, отчего не может сбыться
Зимы период меловой,
Когда рассерженная птица
Кромсает свет над головой?
Уже по краешку обметан,
Зима снижается, и вот он
У доброй вечности в руках.
Ему не кончиться никак.

Когда нам меловые сутки
Наносит строгая зима,
Мои чрезмерные поступки
Не предадут во мне ума.
В стране снегов и белых пятен
Мой черный цвет невероятен.
Но к очагу меня ведет
Толковый, правильный народ.

Кружится черная снежинка,
Кромсая свет по сторонам.
Зачем же времени машинка
Февраль отстукивает нам?
Горит луна из черных ножен.
Какой февраль теперь возможен?
В поля пугливой конопли
Уходят жизни корабли.

Когда на войлочных подковах
Зима взберется на порог,
Меня в застолье у толковых
Осудят вдоль и поперек.
Но в календарной сетке буден
Еще не всякому подсуден
Мой первый свет и первый день
Безумной жизни набекрень.

Пока размеренная птица
Сшивает пестрые года,
Я пью за то, чему не сбыться,
Чему не сбыться никогда, —
За ночь над тушинским ночлегом,
За белый свет над черным снегом,
Где мы у Бога под рукой
В прощальной жизни никакой.



Сотрутся детали рисунка
Побегами рек в январе.
Но сердце, как ценная сука,
Вернется к родной конуре.
Обрушатся кровли в Содоме,
Праща просвистит у щеки,
Но будут возиться в соломе
Любви золотые щенки.
И, выпрямив стебли тугие,
Из смертного крика толпы
Взойдут тростники ностальгии,
Ее соляные столпы.

Отечество, миф о Дедале,
Архангелов тонкий помет.
Но если сотрутся детали —
Кто целому цену поймет?
Навеки без вящего смысла,
Как мухи у липкого рта,
Названий халдейские числа:
Сучан, Колыма, Воркута.
Иштар на вершине пилона
Лицом затмевает луну.
Голодных детей Вавилона
Томят в иудейском плену.

Сотрется росистая балка,
Где плоть привыкала к труду.
Сотрется российская бабка
С клубникой в базарном ряду.
Забудутся клятвы и ссоры,
Измятый трамвайный билет.
Пройдут эшелонами соли
Десятки обманутых лет.
Но пульс не собьется с пунктира,
Покуда стоит Вавилон,
Покуда на стогнах Путивля
Иштар раздирает нейлон.



Пой, соломинка в челюсти грабеля!
Уцелевшие — наперечет.
Вот судьбы цилиндрический кабель
Из заплечной катушки течет.

Пой, травинка в зубастом железе,
Тереби уплывающий грунт.
В электрическом тонком надрезе —
Тишины кристаллический труд.

Телеграфная Божья гитара,
Одуванчика сорванный крик.
В цилиндрической песне металла
Круговые сеченья впритык.

В наслоениях млечного сока,
Сквозь степной журавлиный помет —
Возникает течение тока,
Электрический голос поет.

И недаром в обрыве теченья,
Где озоном мой воздух запах,
Я судьбы круговые сеченья
В искалеченных стиснул зубах.



Как бы славно перестать
Все на свете понимать.
Отменить полет букашки,
Запах клевера и кашки
О колено поломать.
Сесть на краешке с любовью
Там, где висится едва
Вроде перечницы с солью
Легкой ночи голова.

Император Марк Аврелий
В тонкой плесени чернил
Паче Нобелевских премий
Мысли умные ценил.
Мы забот его не знаем,
Размышляем не везде:
Мухам лапки обрываем,
Небу глазки вырезаем,
Косим дождик на заре.
Мы живем, не вызывая
Глупой зависти ни в ком,
Там, где голая ночная
Голова стоит торчком.



И рождаться, и жить позабудем.
Подгоревшего сердца на треть.
Ни к чему человеческим людям
Вулканической пылью гореть.

Я взгляну из альбомного кадра,
Воспаленную жизнь прекратив:
Смотровое стекло миокарда,
Вразумленных очей позитив.

С непривычки приподняты плечи,
Бесполезной верчу головой,
Как железные бабочки речи
В непроглядной ночи горловой,

В стародедовском ритме запетом,
Как с люмьеровских лент поезда.
Только тело уже под запретом,
А душа не имеет гнезда.



До хрипоты, по самый сумрак,
Пока словам работа есть,
Не просыхай, венозный сурик,
Работай, флюгерная жечь.

Трудись, душа в утробе красной,
Как упряжной чукотский пес,
Чтоб молот памяти напрасной
Полвека в щепки не разнес.

Хребет под розги без наркоза,
Как Русь на борозду Петра,
Пока любовь — еще не поза
Для искушенного пера.

Незарубцованною кожей
Верней запомнишь, не шутя,
Что человек — найденыш Божий,
А не любимое дитя.

Пока под кожей оловянной
Слова рождаются, шурша,
Работай, флюгер окаянный,
Скрипи, железная душа.



Стеклянный воздух, месяц медный,
Осина горькая узлом, —
Мой край коричневый и бедный,
Палящей осени излом.
Мне нет забвения давно в ней,
Ни тихой радости сыновней —
Авессалом, Авессалом!

Пока домашние в изъяне
Искали веры наповал,
Я в тихом дворике с друзьями
Вино разлуки допивал.
Их разговор был скуп и горек
От наболевшего ума.
И сторожили тихий дворик
Замоскворецкие дома.
Они дышали нам в затылки,
И воздух в каменной бутылке
Дрожал, как злая сулема.

Деревья темные редели,
Мешался камень со стеклом.
Как одиноко мы сидели
За нашим нищенским столом.
Но лайнер в воздухе красивом
Гудел над каменным массивом:
Авессалом, Авессалом!



Под заботливой кожей сгущалась продольная хорда,
В календарном цеху штамповали второе число.
«Эта жизнь — о любви», — объявили у темного входа,
И прозревшее тело в меня ежедневно росло.

Непочатая кровь бушевала в младенце капризном,
И когда акушер деловитое слово сказал,
Я приветствовал день неказистым своим организмом,
Как чугуевский житель приветствует Курский вокзал.

Из военных руин поднималась земля трудовая,
От Невы до Балкан часовой проходил по стене.
Что я смыслил тогда, первородство свое отдавая
За пророческий голос в навеки оглохшей стране?

Я ходил в города провозвестником рая лесного —
Как мутило меня в ритуале дворцовых манер,
Как я мстил за себя, как хлестал ненавистное слово —
Аж до крови живой, по утрам выгоняя в манеж.

Этот мир — колесо, только с ободом руки связали.
Эта жизнь — о любви, как в забитом колодце звезда.
Для кого я живу, для кого я кричу на вокзале,
Где на сотнях платформ, обезумев, режут поезда?



Понимаешь, дело не в режиме.
Родина — пустая болтовня.
Дело в том, что боги меж чужими
Вырасти сподобили меня.
Оттого я черен и завистлив,
Что меня за дружеским столом,
Как омелу меж дубовых листьев,
Обносили корнем и стволом.

С колыбели в скоморошьих списках,
Подгоняю рожи к парикам.
Боязно от ласковых и близких
Получать за дело по рукам.
Засыпаю, не сходя с помоста,
Где народ стекается с утра
Поглазеть на горестного монстра,
Пьяного гуляку гусяра.

Оттого тайком и неумело,
Напрягая горло и висок,
С детства, как голодная омела,
Я тяну тугой дубовый сок.
Но когда последним ревом трубным
Кликнет ангел зябнущую плоть,
Я приду со скоморошьим бубном:
Вот он я — суди меня, Господь!

СЕРДЦЕ ПО КРУГУ

1

К.

Я уеду за тридцать морей.
Никогда ты не будешь моей.
Пусть обидят меня бестолковым судом,
Наряжая в слепца и ханжу,
Но тебе освещать недостроенный дом,
Из которого я уйду.

Поцелуй меня через порог —
Видно, жить я на свете продрог.
Я запомнюсь лицом алебаstra белей,
С пятипалым тавром на плече,
Но уже с шереметьевских гулких полей
Восходя в журавлином ключе.

Не воротят кольца невода.
Ты не будешь моей никогда.
Покидает дыру перелетный барсук
Под осенний сухой шепоток.
Трансурановых ядер семейный досуг
Рассекает нейтронный поток.

Я повисну меж пепельных туч,
Где таможенный горек сургуч.
Уравняю забвеньем друзей и врагов,
Разменяю на тридцать морей,
И чужая вода не найдет берегов
Кареглазой отчизны моей.

И как эту легкость язык ни зови —
 В разлуке с ума не сойду.
 Мы жизненный срок проведем визави
 За чайным сервизом в саду,
 Где яблони держат в плену высоту
 В заслон светового обвала.
 Но только простимся на полном свету,
 Чтоб тени душа не давала.

Когда соберешь поредевших гостей
 К столу наступающих лет,
 Пускай в дуршлаге перемытых костей
 И мой побывает скелет.
 Я сердцем осилю резец и сверло,
 К столу неуклюже подсяду,
 Но только старайся, чтоб было светло
 И тень не бродила по саду.

Здесь каждый листок по-осеннему дорог.
 Давай разговаривать без оговорок,
 Чтоб сад и в разлуке остался высок
 И память, как мать, целовала в висок.

Время за полночь медленным камнем,
 За холодным стеклом ни шиша.
 Только мы до утра тараканим,
 Насекомую службу верша.
 В эту пору супружеской пашней
 Рассыпают свои семена
 Обитатели жизни всегдашней,
 Не любившие нас дотемна.
 Разве дома тебя не ругали
 За привычку в такие часы
 Разминаться по стенке кругами,
 Вдохновенно топорща усы?
 В эту пору внутри организма

Незакатное пламя бело,
Но, как яркий пример атавизма,
Нелетавшее дремлет крыло.

Не кори, что в ближайшую среду
Тихомолкой в кухонном тряпье
Я с родительской площади съеду,
Изменив тараканьей тропе.
Но, зайдя к тебе прежде за плинтус,
Керосину хлебнуть задарма,
Я от слез неожиданных слипнусь,
И проститься не хватит ума.
Для того ли мы дни раздали,
Как реликтовый бор под пилу,
Чтобы нас, наконец, раздавили
На чужом пенсильванском полу?

4

Б. К.

Наш выбор — не крест, а гитара,
Провидческой песни размер.
Но голос подарком кентавра
Свистящие глотки разъел.

Мы словом столетию вровень,
Но бронхи строка повредит,
И тело с неряшливых дровен
В потухшее небо глядит.

За этот подарок нечастый,
Лавровый убор на одре,
Крапленые фишки несчастий
Живых не обходят в игре.

Не ты ли, мой ласковый ментор,
Спеша на февральский вокзал,
Такою же горькою мерой
Отмерить себе не дерзал?

Так будь же счастливым посмертно,
Во всем одинаково плох.
Не дай тебе в жизни просвета
Судьбы не улыбчивый бог!

Ни крова в родимой округе,
Ни славы в кровавом труде,
Ни легкого тела подруги,
Ни верного друга в беде,

Чтоб вечные строки стекали
С десницы, как Божий хорал,
Чтоб я над твоими стихами
От зависти гордой сгорал.

Нам жить в индевеющей коже,
С обугленным солнцем в груди.
Храни моих недругов, Боже,
И только друзей — не щади.

5

До восхода успели одеться,
За едой второпях рассвело.
На крыльцо выносили Младенца,
Подавали Марии в седло.
И шагнул за ворота Иосиф,
Мимолетного взгляда не бросив
На глухое спросонок село.

Петухи отгорланили зорю,
Гарнизону вручили приказ.
И вошли в обреченную зону,
Облеченные сталью кирас.
Вифлеем пробуждался дворами,
И привычно младенцы орали,
Как и в прежние годы не раз.

Поначалу входили, робея,
Ковыряли копьём как-нибудь.
И бросалась, рыча, Ниобея,
Словно рысь, на железную грудь.
И, обрызганы соком соленым,
По ребячьим мозгам несмышленным
Пролагали отчетливый путь

Виноградари царского сада,
Трудолюбием поражены.
А Иосиф семейное стадо
Уводил по тропе тишины,
По дороге, петляющей круто,
Предъявляя агентам «Сохнута»
Долгожданную визу Жены.



Я — «фита» в латинском наборе,
Меч Аттилы сквозь ребра лет.
Я — трава перекадиморе,
Выпейветер, запрягисвет.
Оберну суставы кожей,
Со зрачков нагар соскребу,
В средиземной ладони Божьей
Сверю с подлинником судьбу.
Память талая переполнит,
И пойдут берега вразнос.
Разве озеро долго помнит
Поцелуи рыб и стрекоз?
Я не Лот спиной к Содому,
Что затылочной костью слеп.
Я — трава поверникдому,
Вспомнидруга, преломихлеб.
Но слеза размывает берег,
Я кружу над чужой кормой,
Алеутская птица Беринг,
Позабывшая путь домой.



Нас поднял зов свирели медной,
Внезапной дудочки игра.
И прежней жизни колыбельной
Навеки прервана пора.
Простая дудочка сорочья
Горела в утренней золе,
Чтоб сердце совестное в клочья
Нам разрывало на заре.

Нам речь отцов предстала плоской,
Под пулей слова не скажи.
Мы в гулкой башне вавилонской
Сменить решили этажи.
Мы выходили детским строем
На безымянную черту,
Ведомы Божьим крысобоєм
С сорочьей дудочкой во рту.

Клаксоном дудочка скрипела,
Роняя сумеречный свет.
И мы шагали постепенно
Подошвой в предыдущий след.
Мы затмевали боль и радость
Дорожной пылью голубой,
И вовсе думать не старались,
Посильной заняты ходьбой.

От рубежей отцовской ночи
Мы, как безмозглые телки,
В пути надсаживая ноги,
За медной дудочкой текли,
Еще младенцы каждым телом,
В какие брюки ни ряди,
За шереметьевским пределом,
Без нотной грамоты в груди.



В земле чужой и непохожей,
Над прахом цезарей и дождей
Хвалиться дедовской казной,
Но тихо бедствуя под кожей
В упрек заботе показной.

Твоя расхожая монета
Идет в уплату без привета,
Менялам чудится подлог.
Домой возвращается планета,
Выскальзывая из-под ног.

С подобной жаждой мудрено
Беречь в нетронутом флаконе
Надежды крепкое вино
На все, что прожито в картоне
И сбыться фресками должно.



Когда мой краткий век накроют волны, пенясь,
Я вспомню летний сквер и молодость втроем,
Шмелиный звон зари, где так свободно пелось,
И горечь оттого, что больше не поем.

Составом горьких вод мы торопили горло
От южных площадей до вузовских кают,
Но в ходиках души цепочку перетерло,
И больше нечем петь. Сломалось, чем поют.

Когда в глухой фургон, уже понятный чем-то,
Снесет меня судьба на закорках с одра,
Я вспомню звездный бар на пьянце Чинквеченто,
Где пела наша смерть, вокзальная сестра.

Прости меня, сестра, вагонная разлука,
За то, что мимо струн секла сухая плеть,
Что твой двузубый рот не пощадил ни звука —
Но только смерть моя такое смеет петь.

Ей выложил жетон какой-то житель строгий,
Безглазый прототип с ребенком и женой,
А я глотал вино, припоминая строки,
Допетые втроем, когда я был живой.

Я думал, что теперь, вернувшись Божьей глиной
От жизненных трудов на ископанный круг,
Нельзя мне будет лечь под той травой шмелиной,
Где пели мы втроем, не покладая рук.



Из пустыни за красной каемкой,
Из аорты, где кровь на замке,
Я притек в эту землю с котомкой,
Тридцать лет уместив в узелке.

От равнин Каракумов и Гоби,
Где вода, как свобода, ничья,
Я пригнал мои тощие годы
Напоить из живого ручья.

Хорошо в этом мире богатом,
Где за нас воцарили покой,
Отдохнуть безъязыким вагантом,
Кобзарем с перебитой рукой.



Судьба мне сулила тресковый кисель,
Парок запотевших параш,
Пока надо мной вхолостую висел
Беды заскорузлый палаш.

Но петля на глотке дала слабину,
Ослабился спасский рубин,
И я сэкономил свою седину
Под крик самолетных турбин.

К самой Персефоне я вхож на пиры
Глотать виноградный удой.
Но с неводом гнева до звездной поры
Торчу над летейской водой.



Полжизни положено вместе.
Забуть ли чумной лазарет,
Ладони в колючем асбесте,
Глазниц голубой трафарет?

Ах, родина, отняты руки,
Зачем же горит надо мной
Звезда неотмытой разлуки,
Заботы твоей ледяной?

Под твердью из платины жидкой,
По розному календарю,
Мытищенской горькой снежинкой,
Таймырским торосом горю.



Глина многолетнего замеса,
Синевы неутолимый плач
На тропинках лиственного леса,
На кольце правительственных дач
Оттого ли кажется дороже
Лозняка мещерских берегов,
Что сюда по усовской дороге
Двадцатиминутный перегон?

В дальний год не выпросить билета,
Но попробуй, сердцу запрети
По следам оставленного лета
Двойником березовым пройти.
Звездами просвеченная редко,
Тень моя без гнева и стыда.
Доброй ночи, усовская ветка,
Спи спокойно — навсегда.



Надо выскоблить пол добела,
Подоконник в накопленной саже,
Но такая за ним глубина,
Что приблизиться боязно даже.
До небес тишина велика
В городском тупике непогожем,
И темна, как абзац Пильняка
В переводе на датский, положим.

Очевидно, имелось в виду,
Что луна молода и прекрасна,
А земле не поставишь в вину
Протяженность пустого пространства.
И приходится жить наугад,
Как безмозглый Адам на лугах,
С пауком и травинкой в обнимку,
На пространство строча анонимку.

Надо жить, как портновская пляшет игла,
Надо выскоблить мебель и пол добела,
Чтобы не было небу лазейки
Вроде вентиля или розетки,
И болеть голова не могла.



Над нами ночь. Места ее гористы.
В долинах день багровой медью спет.
Выходят молчаливые горнисты
Под темный свод, откуда родом свет.

Сквозь млечный пар, теряясь в небе низком,
Добро, что путь и выверен, и прост,
Они бредут земным зеленым диском,
Ночная стража — на восточный пост.

Они стоят, как облачные свечи,
Слегка светя сквозь сумеречный газ.
Но в этот миг ты видишь только плечи,
А я впотьмах не различаю глаз.



За кладбищем земля бугриста,
Церквушки солнечный лубок,
И впереди, шагов на триста,
Фарватер грязен и глубок.

Здесь певчий прах почит с миром,
Ворота вечности крепки.
Но даже в этом месте милым
Скончаться насмерть не с руки.

Который раз за первомаем
На городских своих пирах
Мы без опаски поминаем
Опальный нобелевский прах.

Наш дом — торговая палата,
Где испокон заведено,
Что цену правды и таланта
В стаканах выразить дано.

Еще в живых не стынут жилы,
Под силу сплюнуть и чихнуть.
Но разве мы настолько живы,
Чтоб эту смерть перечеркнуть?

Кочевье призрачное это
К церквушке грязью напрямик,
И переделкинское лето,
Где к жизни заживо привык.



Ситуация А. Человек возвратился с попойки
В свой покинутый дом, на простор незастеленной койки,
Как шахтерская смена спускается в душный забой.
Он подобен корове в канун обязательной дойки,
Но доярка в запое, и что ему делать с собой?
Он прикроет окно, где свинцовые звезды навывлет,
Сигарету зажжет, бельевую веревку намылит
И неловко повиснет, скрипя потолочной скобой.

Ситуация В. Соблюдая отцовский обычай,
Он пройдет до конца по тропе орденов и отличий,
Приумножит почет и пристойный достаток в семье.
Но проснется душа, словно осенью выводок птичий,
И останется плоть остывать на садовой скамье.
Он ложится навек под ковер замерзающих папен,
Погребальный пиджак орденами богато украшен.
Что он выиграл, бедный, с нетронутой болью в лице?
Ситуация А. Ситуация В. Ситуация С.



Не судите меня, торопливые мальчишки детства!
Наши судьбы несхожи, но у Господа в кепке равны.
По кольцу Магеллана бегу, не успев оглядеться,
Чтобы в собственный дом упереться с другой стороны.

Я сорвался в карьер, и трибуны в презрительном вое,
Но с привычного круга не принудишь сойти рысака.
Не судите меня, мы подсудны единственной воле,
Полномочные звезды за нами следят свысока.

Ах, ледовое поле, что ж ты треснуло всей серединой?
Неужели вовеки не свидимся в Божьем аду,
Диоскуры мои, соучастники жизни единой,
Или смерти на всех, от которой и я не уйду?

И кому воссоздать нашей дружбы расколотый слепок,
Как тевтонский витраж из кусков неживого стекла?
Не судите меня, напоите меня напоследок
Эликсиром забвенья, что не сходит у вас со стола.

Но пока не погасли расходящихся льдин очертанья
И обрывки речей различимы в ночной полутьме,
Поклянемся запомнить безжалостный год вычитанья,
Чтобы срок умноженья справедливо назначить в уме.



Отсюда солон или сух
Срединной жизни волок.
Перечисляю мысли вслух,
Пугаюсь оговорок.
Громоздкой речью полон рот,
Природа в горле комом,
И недоуздок губы рвет
Железом родниковым.
До крови содрана спина,
А кровь суха и холодна.

Зачем же музыка и медь,
Тупой пехотный метод?
Неужто я назначен петь
На долгий волок этот?
Я вырос в теле испитом
Безглазым тягловым скотом
В срединном караване.
И вот дубленным лоскутом
Распят на барабане.
Надолго в голосе моем
Испуга стиснутый объем.



На четверых нетронутое мыло,
Семейный день в разорванном кругу.
Нас не было. А если что и было —
Четыре грустных тени на снегу.
Там нож упал — и в землю не вонзится.
Там зеркало, в котором отразиться
Всем напряженьем кожи не смогу.

Прильну зрачком к трубе тридцатикратной —
У зрения отторгнуты права.
Где близкие мои? Где дом, где брат мой
И город мой? Где ветер и трава?
Стропила дней подрублены отъездом.
Безумный плотник в воздухе отвесном
Огромные расправил рукава.

Кто в смертный путь мне выгладил сорочку
И проводил медлительным двором?
Нас не было. Мы жили в одиночку.
Не до любви нам было вчетвером.
Ах, зеркало под суриком свекольным,
Безумный плотник с ножиком стекольным,
С рулеткой, с ватерпасом, с топором.



На земле пустая лебеда,
Горизонт раздвоенный приподнят.
Умираешь — тоже не беда,
Под землю известь и вода
Вещество до края переполнят.

Краток век собачий или птичий,
Повсеместно смерть вошла в обычай.
Тех, что в детстве пели надо мной,
На ветвях не видно ни одной.
Кошки нашей юности заветной
Выбыли из жизни незаметной,
Каждая в могилке ледяной.

Больше Горького и Короленки,
Отошедших в землю подо мной,
Для меня значенье канарейки,
Лошади порядок потайной.
Даже дети, целясь из рогатки,
Не дадут нам смысла и разгадки,
Потому что известь и вода
Не заменят птицы никогда.



Речь перевернута. Щупаю дно головой.
С выслугой срока скитается неподалеку
Прежний язык. От печи отлучен горновой,
Кончено. Речь изменила свою подоплеку.

Прежняя речь, атлантический шов поперек.
Так паралитик пройти не силен за калитку.
Но и тогда, чтоб чужую Господь поберег,
Из подземелья души продолжает молитву.

В клепаной бочке меня атлантический ров
Вынес на запад любить материк незнакомый.
Не прозвучит над печалью московских дворов
Птичий язык, человеческий язык насекомый.

В каменном горле багровые фразы дотла.
Треть перегона земля добрала к обороту.
Койку под лестницей мачеха речь отвела.
Прежняя мать по чужим продолжает работу.



В трибунале топор не пылится,
Набавляют паек палачам.
Продолжается жизнь-небылица,
Лежаками скрипит по ночам.

Мы плодимся, как в пойме еноты,
Разбухают архивы в бюро,
Но в архивах иные длинноты
Анонимное правит перо.

Послушанье имея воловье,
Покидаем свое поголовье
И ползем под топор, как жуки,
Молодым уступить лежаки.

Хороша ты, уставная поза,
Тяжела голова на боку.
А в доносе особая польза:
Перед вышкой свернуть табаку.



В короткую ночь перелетной порой
Я имя твое повторял, как пароль.
Под окнами липа шумела,
И месяц вонзался в нее топором,
Щербатым, как профиль Шопена.
Нам липа шептала, что ночь коротка —
Последняя спичка на дне коробка.

Я имя твое наготове берег,
Как гром тишина грозовая,
Летя по Каретной в табачный ларек,
Авансом такси вызывая.
Пустые звонки вырывались из рук,
Над почтой минуты мигали.
На город снижался невидимый звук,
Мазурку сшивая кругами.
Не я тебе липу сажал под окном,
Дорогу свою не стелил полотном.
Слеза моя, кровь и ключица.
Нам без толку выпало вместе в одном
Раздвоенном мире случиться.

Останется воздух, а дерево — прах.
Пространство спешит на свободу.
Нам выпало жить в сопряженных мирах,
Без разницы звезд над собою.
Я черный Манхэттен измерю пешком,
Где месяц висит над бетонным мешком,
Сигнальная капля живая,
Минуту с минутой, стежок за стежком
Мазурку из мрака сшивая.



Отсюда в май прокладывают кабель,
Откачивают время из реки.
В такие дни красноречивей камень
И голоса древесные крепки.

Из блиндажей нам виден обнаженный
Продольный год с ходами напролом.
И наша жизнь, как камень обожженный,
Не ощущает боли под кайлом.

Грузовики торопятся к парому,
Последний месяц выдан палачам,
И времени порожнюю породу
Грузовики утюжат по ночам.

Придет бумага, упадет монета —
Пора неотвратима и близка,
Когда над нами рукоять магнето
Ревущий год поднимет из песка.



Грозный Курбскому — бандероль, а Пушкин — Дельвигу; набухает в ночном котле звездное пшено. Нет прощения камышу, исповеди дереву. Надо стариться на земле, а начинать смешно. Запускают карусель, отъезд по вызову, словно некому вверху оборвать виток. Нужен гербовый документ со стигийской визою, с белым оттиском звезды в рубрике «итог».

Сталин Рузвельту строчит, зенит почтового сезона. Пой, серебряный рожок, весело в седле! Мчатся по небу часы от Ист-Ривера до Гудзона, трудно времени течь в фиолетовом киселе.

Бьется ветер у бедра,
змей подостлан твердо,
в прошлогодних звездах
тихая река.

Подо мною конь Петра,
бронзовая морда,
и в железный воздух
вправлена рука.



В похвальбу, из пустого геройства
Нелюдские предпринял труды
Архитектор земного устройства,
Пиротехник песка и воды.

Как подумаешь, сколько добра там
Перетрачено желтым цветком —
Не возьмешь перекоса домкратом,
Надо сваи менять целиком.

Надо сделать прямее и чище,
Дорожа наступающим днем,
Невысокое наше жилище,
Чтобы ветру понравилось в нем.



Ровесницы выходят за болгар,
А я беды из памяти не строю.
Мне совестно, и этим я богат.
Ночная кровь, не пролитая сроду,
Для расставаний тем и хороша,
Что ни убытка в ней, ни барыша.

Ровесницы, невесты — ни одной.
Бездомный гость кухонной водки выпьет.
Он движется любовью приводной,
Но капитал не покрывает выплат.
А времени чрезмерная река
Уже подмыла дамбу дневника.

Храни, Господь, сады моих невест!
Твой добрый мир пускай стоит, как хочет,
Пока железа ржавчина не ест
И червь напрасный дерева не точит.
Не прерывай бездомного пера.
Я заплачу, когда придет пора.



Небо с немочью зубною
Спит в рентгеновском луче.
Ходит смерть моя за мною
С бормашиной на плече.
Боль проложена повсюду,
Не унять ее, паскуду,
Даже током УВЧ.

Ночь у лавочки табачной
Темной болью проливной.
Кроме жизни неудачной,
Нет надежды под луной.
Свет неоновый по коже —
Нынче в жизни непогоже,
В горле горькая вода.
Я друзей моих, похоже,
Не увижу никогда.

Есть у смертного обуза
В виде спелого арбуза
Под картузным козырьком,
С неподвижным языком.
И лицо его былое
На живых глядит в поту,
Словно сердце нежилое
Отражается во рту.



Весь в сазаньих плавниках,
Лес висит, седея.
Видно, нет меня никак,
Это снюсь себе я.
Лето в золоте до крыш
На родной сторонке,
А лицо мое — камыш
В водяной воронке.
Был я голосом высок
В дружеском совете,
Но рассыпался в песок —
Нет меня на свете.
Сплю — и нет меня во сне,
Только рыба на сосне.

Смотрит дерево в ручей
Головой опрятной,
Потому что нет ключей
От воды обратной.
Привыкай висеть ковшом
В тесном небе небольшом,
Для того и поднят.
В прежнем городе твоём
Тени сходят в водоем,
Ничего не помнят.
Смотрят в воду: лес высок,
Звезды сброшены в песок.



Мы к осени пить перестанем,
Освоим гражданскую речь,
И мебель в домах переставим,
Чтоб не было места прилечь.
Над табором галок картавых
Синайская злая гроза,
Но рыбы в подводных кварталах
Закреть не умеют глаза.
Взлетает оленья приманка
В рассеянный свет неживой,
А сердце на грани припадка
В упряжке любви гужевой.
Пространство сгущается к ночи,
Лежит на ветвях, как слюда.
Но рыб негасимые очи
Глядят из девонского льда,
Как времени грубые звенья
На ощупь срастаются в век.
А мы не имеем забвенья,
Стеная у медленных рек.



Земли доверчивая гряда,
Пространства синяя тетрадь.
Приходит лето ниоткуда
Пропащим воздухом играть.

Легко устроена природа,
Послушны ветру облака,
Но нет у воздуха приплода,
Как у оленя и быка.

И в синеве его безрукой,
Как атлантический залив,
Мы дышим полною разлукой,
Глаза ненужные закрыв.

Свети, слепой и синеокий,
Над кровеносной пустотой,
Июльский воздух одинокий,
Осколок памяти святой.



Поставили гром на колеса
В обоз до Великих Озер.
Я — мертвое поле покоса,
Топчи меня, вражий дозор.
В саду городских новоселий
Сентябрьский горит адресок.
Погони чертеж невеселый
Кладут на гавайский песок.

Побег провалился, зато ты
Глядел с кругосветных галер,
Как медленный порох заботы
В гавайское небо горел.
И вскоре присяжный святитель
Заставит признать со стыдом,
Что ты уцелел, как свидетель,
А время твое — под судом.

Напрасно поругано братство
И детство, где быть не бывал
С тех пор, как в патетику Брамса
Бикфордовы гвозди вбивал.
Срастаются в Этну напевы, —
Сарматским лицом безволос,
Солист иосафатской капеллы
Гранитное соло вознес.

Я честный плательщик налогов,
Висящий над этой дырой,
Не то что писатель Набоков —
Он бабочек мучить герой.
Сравниется наша зарплата
И певчая сила точь-в-точь,
Когда пустырями заката
Нас бабочки выведут в ночь.



Как солнце в облаке тяжелом
Лежала улица в окне,
Когда весна была ожогом,
А лето — гибелью вполне.
Начальных дней чередованье
Сжигало детство новизной,
И казнью чрез четвергованье
Грозилась улица весной.

Когда из политых бороздок
Взлетали мальвы тяжело,
За ними комнатный подросток
Следил в оконное жерло.
Сентябрь, как медное полено,
Сгорал до первого дождя,
Но детство бедное болело,
Под новым снегом проходя.

В заклеенной скорлупке грецкой
Тропинка ненависти детской
В горящих мальвах под окном
Катилась белым полотном.



Трехцветную память, как варежку, свяжем,
У проруби лет соберемся втроем.
Я вспомнил, что дома, в Елабуге, скажем,
Испытанный мне уготован прием.

Товарищ мой верил в стихи, как в примету,
В подкову, как всадник на полном скаку,
И ясно, что я непременно приеду,
Коль скоро не выбросил эту строку.

Мне выдан в дорогу пятак полустертый
В конце отпереть кольцевое метро,
И шесть падежей, из которых четвертый
На крестном листе распинает перо.

Товарищ мой выпьет с друзьями в зарплату,
Бездомным подпаском проспится в кустах,
Откуда весь день по дороге к закату
Трехцветные флаги бегут на шестах.

Мы странно дружили, мы виделись редко,
Пройдя Зодиак под конвоем Стрельца,
В ту пору, когда радиальная ветка
Меня навсегда уносила с кольца.



Оскудевает времени руда.
Приходит смерть, не нанося вреда.
К машине сводят под руки подругу.
Покойник разодет, как атташе.
Знакомые съезжаются в округу
В надеждах выпить о его душе.

Покойник жил — и нет его уже,
Отгружен в музыкальном багаже.
И каждый пьет, имея убежденье,
Что за столом все возрасты равны,
Как будто смерть — такое учреждение,
Где очередь — с обратной стороны.

Поет гармонь. На стол несут вино.
А между тем все умерли давно,
Сойдясь в застолье от семейных выгод
Под музыку знакомых развозить,
Поскольку жизнь всегда имеет выход,
И это смерть. А ей не возразить.

Возьми гармонь и пой издалека
О том, как жизнь тепла и велика,
О женщине, подаренной другому,
О пыльных мальвах по дороге к дому,
О том, как после стольких лет труда
Приходит смерть. И это не беда.

НА СМЕРТЬ В. НАБОКОВА

Песня, как ржавый клинок, не идет из ножен.
Без толку, что поединки разрешены.
Наши слова, пока линотип стреножен,
Яблоками висят на ветвях тишины.
Свет на виду, но никак не дойти до места.
Вешенский Сцевола в варежках из асбеста
В вечном огне поворачивает блины.

Свет перечеркнут швом, как полотно в панораме.
Песня кровоточит на стыке таком.
Марш с котелком за бравыми поварами,
Вдоль Волго-Дона за нобелевским пайком!
Полночь отбоя у яблоневого леса,
Краешком света пропархивает ванесса —
Кто-то в строю сачок теребит тайком.

Трещина в грунте, в лафете черная щелка,
Холст ненадежен, сбивает коренник хромой.
Рушится небо в разрыв парашютного шелка
У Золотых Ворот, по пути домой.
Сосны по всей земле истекают латунным соком,
Ночь, как Женевское озеро в камне высоком, —
Перед уходом отпей и лицо омой.

Подняты флаги, запрещены поединки,
Пепел побега выметен из дворца.
Бабочки в ветре, как голубые льдинки,
Медленных яблонь оттаявшие сердца.
В ножны вложен сачок, исчерпано прежнее средство.
Близится схватка миров за вешенское наследство —
Сядь к линотипу и мира проси у Творца!



Я выпался, но света не зажег.
Еще земля не встала по курантам.
И маяка отравленный рожок
Прокуковал в тумане аккуратном.

Я бодрствовал, но встать еще не мог
В такую рань — часу, должно быть, в третьем,
Где времени отчетливый дымок
Дрожал над электрическим столетьем.

Я понимал, что ночь еще крепка,
Что время сна от Кубы до Китая,
Но мертвая кукушка маяка
Работала, часы мои считая.

Ни молнии, ни птицы, ни ручья —
Высокий мир был облачен и страшен.
Стояла ночь. Земля была ничья.
Последний крик летел с бетонных башен.



зачем живешь когда не страшно
как будто вещь или плотва
и до утра в твоём стакане
вода печальная мертва
душа воды не выбирает
в просвете стиксовых осин
но до отметки выгорает
ее кровавый керосин

живущий в страхе неустанном
не может вспомнить об одном
а смерть железным кабестаном
всю жизнь скрипела под окном
и надо бережно бояться
как девочка или лоза
когда над озером двоятся
беды любимые глаза

твой прежний ум обезоружен
в сетях великого ловца
но дар судьбы как скромный ужин
еще не съеден до конца
и ты живешь в спокойном страхе
не умирая никогда
пока в осинової рубахе
стоит высокая вода



человек выходит в поле
как простое деревцо
словно листик станиоля
шелестит его лицо
в голове глаза пробиты
вся душа его видна
человеку нет работы
только смерть или война

птицы петлями двойными
отраженья на траве
пешеход стоит под ними
держит небо в голове
долгий день на воле прожит
ночь приходит на развод
пешеход уйти не может
словно дерево растет

гражданин растет у брода
высока его нога
в голове его природа
как прозрачная фольга
время жизни постепенной
продвигается рекой
но руке его военной
нет работы никакой



В тот год была неделя без среды
И уговор, что послезавтра съеду.
Из вторника вели твои следы
В никак не наступающую среду.
Я понимал, что это чепуха,
Похмельный крен в моем рассудке хмуром,
Но прилипающим к стеклу лемуrom
Я говорил с тобой из четверга.
Висела в сердце взорванная мина.
Стояла ночь, как виноватый гость.
Тогда пришли. И малый атлас мира
Повесили на календарный гвоздь.

Я жил, еще дыша и наблюдая,
Мне зеркало шептало: «Не грусти!»
Но жизнь была как рыба молодая,
Обглоданная ночью до кости, —
В квартире, звездным оловом пропахшей,
Она дрожала хордовой струной.
И я листок твоей среды пропавшей
Подклеил в атлас мира отрывной.
Среда была на полдороге к Минску,
Где тень моя протягивала миску
Из четверга, сквозь полог слюдяной.

В тот год часы прозрачные редели
На западе, где небо зеленей, —
Но это ложь. Среда в твоей неделе
Была всегда. И пятница за ней,
Когда сгорели календарь и карта.
И в пустоте квартиры неземной
Я в руки брал то Гуссерля, то Канта,
И пел с листа. И ты была со мной.



Я помню летний лес, заката медный створ,
Воздушный спуск звезды к покосам и озерам.
Я жил спиной к Москве — она, как задний двор,
Ложилась на стекло разорванным узором.
Я жил нигде — меня пускали ночевать.
И бесполезный лес мне был тогда известней
Дороги кольцевой с ее огромной песней,
Какую все равно откуда начинать.

В начале сентября, в одно из воскресений,
Когда бледнеет мир, куда ни погляди,
Прошли пустым двором в широкий день осенний
Две бабы и мужик с гармонью на груди.
Снижалась на ночлег озябшая Москва,
А эти трое шли внимательно и ровно.
И тихие слова, тяжелые, как бревна,
В воздушной пустоте ложились на места.

Сквозили в голосах терпение и скука,
Лежала синева в чертах спокойных лиц.
Так мертвые сердца лежат в груди без стука
В таежных тупиках и в грохоте столиц.
Из растворенных губ сочился ртутный свет.
Невидимый азот твердел под этим пенем.
А я смотрел вокруг со скукой и терпеньем
На неизвестный мир, который ими спет.



третий день сидим и едем
звезды зыбкие в строю
мне приснилось что с медведем
в переписке состою

широко свистят колеса
мысли плавают в жиру
ты москва моя каносса
я в америке живу

я червем ушел из банки
не страшит меня уда
и живу теперь с изнанки
многим хочется туда

погоняй железный лапоть
песни долгая тесьма
привыкай дышать и плавать
в тонком воздухе письма

точным глазом отмечаю
жизни ровные края
и медведю отвечаю
не скучай душа моя



спасибо сказавшему слово
в сенате обеих столиц
где памятник цезарю слоно-
подобный как время стоит

валдайско-балтийская площадь
в себя винтовое окно
и как августейшая лошадь
из двух ипостасей одно

в какой свою музу ни тискай
из коек у бронзовых морд
для всей византийско-латинской
словесности светит аборт

осанна поющим без титра
садко пузырями со дна
когда от босфора до тибра
молочная речь голодна



Нелегкое дело писательский труд —
Живешь, уподобленный волку.
С начала сезона, как Кассий и Брут,
На Цезаря дроишь двустволку.
Полжизни копить оглушительный газ,
Кишку надрывая полетом,
Чтоб Цезарю метче впаять промеж глаз,
Когда он парит над болотом.
А что тебе Цезарь — великое ль зло,
Что в плане латыни ему повезло?

Таланту вредит многодневный простой,
Ржавеет умолкшая лира.
Любимец манежа писатель Толстой
Булыжники мечет в Шекспира.
Зато и затмился, и пить перестал —
Спокойнее было Толстому
В немеркнувшей славе делить пьедестал
С мадам Харриет Бичер-Стоу.
А много ли было в Шекспире вреда?
Занятные ж пьесы писал иногда.

Пускай в хрестоматиях Цезарь давно,
Читал его каждый заочник.
Но Брут утверждает, что Цезарь — говно,
А Брут — компетентный источник.
В карельском скиту на казенных дровах
Ночует Шекспир с пораженьем в правах.



Меня любила врач-нарколог,
Звала к отбою в кабинет.
И фельдшер, синий от наколок,
Во всем держал со мной совет.
Я был работником таланта
С простой гитарой на ремне.
Моя девятая палата
Души не чаяла во мне.

Хоть был я вовсе не политик,
Меня считали головой
И прогрессивный паралитик,
И параноик бытовой.
И самый дохлый кататоник
Вставал по слову моему,
Когда, присев на подоконник,
Я заводил про Колыму.

Мне странный свет оттуда льется:
Февральский снег на языке,
Провал московского колодца,
Халат, и двери на замке.
Студенты, дворники, крестьяне,
Ребята нашего двора
Приказывали: «Пой, Бояне!» —
И я старался на ура.

Мне сестры спирта наливали
И целовали без стыда.
Моих соседей обмывали
И увозили навсегда.
А звезды осени неблизкой
Летели с облачных подвод
Над той больницей люблинской,
Где я лечился целый год.



За рубежом, в одном подвале,
Ютясь под тесною доской,
Я вспоминал, как мы бывали
В тюменской бане городской.
Там, рот напрасный улыбая
В зубах как белые слоны,
Блестит Джоконда голубая
С мольберта вымытой спины.
Там человек, сибирский житель,
Плюя на службу и партком,
Снимает валенки и китель
И жопу моет кипятком.
Женатые и холостые
Стремятся выскоблить дыру
Туда, где женщины простые
В крошечном мечутся пару.
В парной кричат: «Наддайте газу!»
Умрешь — и все припомнишь сразу.
Но я воскреснуть не спешу
И в доску плоскую дышу.
Стоит зима в природе шаткой —
Душе невидимый урон, —
А я гляжу, прикрывшись шайкой,
На хляби озера Гурон.



Когда состарятся слова
От долгого труда,
Мы канарейки от слона
Не отличим тогда.
Не будет смысла в слове «пруд»,
«Контора» и «спина»,
Когда от старости умрут
Предметов имена.

Зачем пришли мы в этот мир,
Недолгий, как трава,
Где, отработав сотню миль,
Кончаются слова?
Мы произносим их в суде,
Довольные весьма,
И подвергаем их судьбе
Минойского письма.

Когда мы произносим звук,
Когда рисуем знак,
Летит зерно из наших рук,
И вырастает злак.
Его мы в голоде слепом
От всех невзгод храним.
Но осень медленным серпом
Уже ведет над ним.



Я мечтал подружиться с совой, но, увы,
Никогда я на воле не видел совы,
Не сходя с городской карусели.
И хоть память моя оплыла, как свеча,
Я запомнил, что ходики в виде сыча
Над столом моим в детстве висели.

Я пытался мышам навязаться в друзья,
Я к ним в гости, как равный, ходил без ружья,
Но хозяева были в отъезде,
И когда я в ангине лежал, не дыша,
Мне совали в постель надувного мыша
Со свистком в неожиданном месте.

Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей,
Застывал истуканом у дачных дверей,
Где сороки в потемках трещали,
Но из летнего леса мне хмурилась вновь
Деревянная жизнь, порошковая кровь,
Бесполезная дружба с вещами.

Отвинчу я усталую голову прочь,
Побросаю колесики в дачную ночь
И свистульку из задницы выну,
Чтоб шептали мне мышцы живые слова,
Чтоб военную песню мне пела сова,
Как большому, но глупому сыну.



Сколько лет я дышал взаймы,
На тургайской равнине мерз,
Где столетняя моль зимы
С человека снимает ворс,
Где буксует луна по насту,
А вода разучилась течь,
И в гортань, словно в тюбик пасту,
Загоняют обратно речь?
Заплатил я за все сторицей:
И землей моей, и столицей,
И погостом, где насмерть лечь.
Нынче тщательней время трачу,
Как мужик пожилую клячу.
Одного не возьму я в толк:
У кого занимал я в долг
Этот хлеб с опресневшей солью,
Женщин, траченных снежной молью,
Типину моего труда,
Этой водки скупые граммы
И погост, на котором ямы
Мне не выроют никогда?

СОСТОЯНИЕ США

1980



румяным ребенком уснешь в сентябре
над рябью речного простора
луна в канительном висит серебре
над случаем детства простого
сквозная осина в зените светла
там птица ночует немая
и мать как молитва стоит у стола
нечаянный сон понимая
и нет тишины навсегда убежать
кончается детство пора уезжать

едва отойдешь в меловые луга
в угоду проснувшейся крови
серебряной тенью настигнет луна
вернуть под плакучие кроны
упрячешь в ладони лицо навсегда
в испуганной коже гусиной
но нежная смерть словно мать навсегда
в глаза поглядит под осиною
венец семизвездный над ночью лица
и детство как лето не знает конца



я порядка вещей не меняю
осторожно и строго живу
нынче руку в запас увольняю
завтра ногу ссылаю в туву
учреждаю в австралии лето
погружаю европу в снега
только слышно по глобусу где-то
одинокая бродит нога

я природы проверенный флагман
облекающий в факты слова
о единственно верном и главном
рассуждает моя голова
этот труд ей высокий неловок
с перегреву легко полысеть
но зато из возможных веревок
ей на лучшей дадут повисеть



две недели без перемен
я любил тебя мэри-энн
две недели без лишней крови
по отвесной ступал кайме
как лунатик на скате кровли
с недокрученным сном в уме

в продолжение этих дней
становилась мне все видней
проявляясь как бледный снимок
пропасть яви у самых ног
но пока ты мне резче снилась
я уйти от тебя не мог

ты была словно краткий плен
больше нет тебя мэри-энн
мы впотьмах потеряли связку
заблудились в печном дыму
и до нас написали сказку
про герасима и муму



отверни гидрант и вода тверда
ни умыть лица ни набрать ведра
и насос перегрыз ремни
затупился лом не берет кирка
потому что как смерть вода крепка
хоть совсем ее отмени

все события в ней отразились врозь
хоть рояль на соседа с балкона сбрось
он как новенький невредим
и язык во рту нестерпимо бел
видно пили мы разведенный мел
а теперь его так едим

беспольный звук из воды возник
не проходит воздух в глухой тростник
захлебнулась твоя свирель
прозвенит гранит по краям ведра
но в замерзшем времени нет вреда
для растений звезд и зверей

потому что слеп известковый мозг
потому что мир это горный воск
застывающий без труда
и в колодезном круге верней чем ты
навсегда отразила его черты
эта каменная вода



от самого райского штата
в любом околотке жиллом
душа как кандальная шахта
в сибире выходит жерлом
однажды дотошный геолог
пожравши пихтовых иголок
ее на планшете простом
отметит корявым перстом

пойдут озорные заряды
кромсать мезозойскую плоть
и поздно от этой заразы
прививки в предплечье колоть
напрасно венерик божится
что больше с блядьми не ложится
бациллы спустились в забой
и нос не подходит резьбой

мне снится сечение колодца
тротила с полсотни кило
я насмерть готов уколиться
об это тупое кайло
летят перелетные стаи
пейзаж стрекозиный сетчат
и прошлые звезды как сваи
с изнанки в сетчатку стучат



как в застолье стаканы вина
я вещам раздавал имена
в мастерской миростроя московский студент
кругозора наследный царек
я примерил к руке штыковой инструмент
и лопату лопатой нарек

что-то двигало мной наобум
упражнять ученический ум
словно флагманский вол со слепнями в мозгу
по хребту роковой холодок
все предметы природы я вел на москву
на словесный беря поводок

в типографском раю букваря
я язык коротал говоря
но трещат на предметах имен ползунки
врассыпную бредет караван
и лопата на плахе дробит позвонки
и копает луна котлован

я прибился к чужому крыльцу
больше челюсти мне не к лицу
поднимаются тучи словарной золы
звуки мечутся как саранча
хоть литоту лопатой отныне зови
хоть мочалом долби солончак



когда споеет на берегу
сигнальная труба
посеют в поле белену
ударники труда
трубач сыграет молодой
лиловые уста
и время выпрямит ладонь
фалангами хрустя

мы были втянуты вчера
в опасную игру
звенит на пасеке пчела
медведь рычит в бору
звезды оптический намек
молочная кутья
на трубаче пиджак намек
от медного дутья

трубач рождается и ест
и времени полно
но генералом этих мест
останется оно
никто в природе не умрет
в отмеренные дни
пока часы идут вперед
пока стоят они



вид медузы неприличен
не похвалим и змею
человек любить приучен
только женщину свою
обезумев от соблазна
с обоюдного согласия
он усердствует на ней
меж кладбищенских камней

а змея над ним смеется
рассуждает о своем
то восьмеркою совется
то засвищет соловьем
у нее крыло стальное
в перьях тело надувное
кудри дивные со лба
невеселая судьба



в этот год передышки от кутежей и охот
говорил мне врач затевая дневной обход
не кори меня фрейдом все ж таки там европа
там и виски с содой и лед даровой а здесь
со времен батыя хоть пей хоть в петлю лезь
перебор воды недолив сиропа

(в этот медленный год дожидаясь конца зимы
я друзьям по палате таблетки ссужал взаимы
скрежетали дни словно в клюзе цепные звенья
по утрам старожил на уборку шагал с ведром
променяв свободу на корсаковский синдром
и на бред подозренья

календарь уверял что покуда мы здесь лежим
в двух столицах земли успешно сменен режим
два народных вождя безутешно почили в бозе
но со всей москвы словно редкую дичь в музей
два кряжистых атлета везли нам новых друзей
на лихом чумовозе)

я ответил ему мне до лампочки фрейд и фромм
раз уж перхоть пошла то спокойнее топором
я знаток златоуста и с ангелами на ты я
но скажи блюстителю с клистирным железом в говне
отчего эта перхоть лежит испокон на мне
с бессловесных лет со времен батыя



еще я память пробую слегка
как теребят вздремнувшую болонку
и наготове долгая слега
для медленных кочевий по болоту
еще в резину грубую обут
нашариваю спички по карманам
но те что в лодке съедены туманом
хоть криком разорвись не догребут

сулит лоза сомнительную гроздь
глушить тоску по отчему китаю
чего же я как маскарадный гость
чужое чувство юмора пытаю
стоят в глазах болотные огни
кромешный свет по гринвичу раздвоен
но тем что в лодке выбор не позволен
и все гребут стараются они



воспоми^наньем о погромах
под исполкомовский указ
в больших петуниях багровых
бывали праздники у нас

мы выходили по тревоге
изображая без вины
кристалл германия в триоде
где дырки быстрые видны

с утра садилась батарейка
сползал родительский пиджак
и мертвый завуч крамаренко
в зубах петунию держал

в оркестре мельница стучала
земля ходила ходуном
другая музыка скучала
в порожнем сердце надувном

мы перли в адские ворота
под оглушительный металл
и мертвый завуч как ворона
в зените с песнями летал



в этом риме я не был катонем
и по-прежнему память мила
о заброшенном сквере в котором
приучали к портвейну меня

но когда по стеклу ледяному
проложили маршрут на урал
мне на флейте одну идиому
милицейский сержант наиграл

я пытался на скрипке в октаву
только септимой скреб по струне
как со шведским оркестром в полтаву
гастролировал я по стране

из одной всесоюзной конторы
намекнули в избытке души
не годишься ты парень в катоны
но и в цезари ты не спеши

я простился с невестою олей
корешей от себя оторвал
потому что в период гастролей
не умел удержать интервал

потому что за дальним кордоном
где днепровская плещет вода
преуспел я в искусстве в котором
я катонем не слыл никогда



не притязая на глубину ума
в скобках отмечу в последнее время не с кем
словом обмолвиться ни обменяться веским
взглядом ввиду отсутствия слова в карма-
не оболыщен кругосветным застольем одесским
а в остальные покуда не вхож дома

бывший герой перестрелки бульварных мо
нынче за словом в проруби шарю донкой
наедине с собой словно кот в трюмо
перестаю разбираться в оптике тонкой
понаторевший во всем помыкать в семье
с детства уже ничем не взорву этот плоский
стиль и пишу с анжамбман как иосиф бродский
чтоб от его лица возразить себе

даже дефектом оптики не страдая
свет отраженья не удержать в горстях
это понятно по вечерам когда я
сам у себя безуспешно сажу в гостях
впору в трюмо огласить манифест и будто
дело к реформе но как обойтись без бунта
где-то под тверью в неведомых волостях



когда позволяет погода
над желтой равниной погона
насквозь прожигая зенит
железное око звенит
подернута дымом терраса
как будто за дачной стеной
змеистый ублюдок триаса
желудок продул жестяной
от камня хивы и коканда
до самой карибской воды
грозы золотая кокарда
на все полыхает лады

когда настигает погоня
в лесах нелюдимои мордвы
над звездной долиной погона
глаза золотые мертвы
зачем же над каждой бумажкой
напрасной страдать головой
предмет эволюции тяжелой
в огромной броне роговой
над садом внимательной гнозы
гремят генеральские грозы
построены рыбы в струю
стрижи в караульном строю



невесомости местный повеса
в стратосферу свободный прыжок
кругосветный шиповник прогресса
огоньками пространство прожег
подо мной жестяные коробки
городов световая икра
этот вздох этот воздух короткий
покидать мне пока не пора

там где ветхая осень пожару
подвергает орех и ольху
только медленно падать пожалуй
остается вещам наверху
над шиповником дальнего крыма
после принятой дозы вина
звуковая сигнальная рыба
просвещенному глазу видна

перелетные лопасти клином
бортовые огни на корме
и кому в этом времени длинном
в неизбежном признаться уме
как ненужный предмет говорящий
осмотревший орешник горящий
я сорвусь безусловной зимой
в этот год в этот город немой



снится мне волги привычный седан
темный колодец шашлычной севан
полночи спасская тема
внуковский вой и салют вдалеке
все что кормило меня в парнике
этого мозга и тела

в оспинах яви текучий фантом
труп на трибуне с багровым бантом
летопись жизни готовой
буквы бастуют и почерк продрог
плыл бы уже как иона-пророк
прочь от икоты китовой

дерево сердца растительный мрак
стереометрия классовых драк
в тесном объеме эпохи
потному сну истечения нет
это телок заблудившихся лет
с плеском роняет лепехи

четкий теленок чумная овца
просто не прожита мной до конца
ночи законная квота
просто отсрочен библейский финал
в бешеном кашле зашелся финвал
выблевать сиясь кого-то



рано утром над рекой
слышен топот конский
дует в долгую трубу
храбрый инвалид
семафорит палашом
герцог веллингтонский
бонапарта сей секунд
одолеть велит

император александр
крепко держит слово
зря не мелет языком
словно канарей
он загнал своих орлов
аж под ватерлоо
чтоб совместно защищать
братских королей

государь хорош собой
и любим в народе
он монархам всей земли
как братан родной
наливает меттерних
графу нессельроде
за победу говорит
ебнем по одной

бонапарт своих штабных
материт безбожно
пушки ядрами плюют
кровь бежит рекой
nessельроде не дурак
за победу можно
но нащупал артишок
бдительной рукой

на елене на святой
меблируют домик

узурпатору хана
нанесли урон
вы пожалуйста в париж
гражданин людовик
возведите организм
на бурбонский трон

меттерних упал в салат
спирт шибает в бошку
нессельроде кличет баб
рад прилечь с любой
аракчеев достает
хохломскую ложку
ест ботвинью из ковша
некрасив собой



беззвучный рот плерома разевает
по именам предметы вызывает
пора природу мыть и убирать
давайте понемногу умирать

а мы ночею заняты под утро
не чуя в пищеводах пирамид
как медленная медная полундра
по кегельбану млечному гремит

мерцает воздух в шепоте крысином
в проем ворот нацелено бревно
не камни мы но с нашим керосином
и худшее проспать немудрено

в ночной казарме душно и матрасно
стучит будильник глуше и скорей
железный век устроенный напрасно
срывается с шумерских якорей

ах белочка росинка одуванчик
картонный лес зажмурься и обрежь
все собрано в особый чемоданчик
и нет слюны заклеить эту брешь



писатель где-нибудь в литве
напишет книгу или две
акын какой-нибудь аджарский
уйдет в медалях на покой
торчать как минин и пожарский
с удобно поднятой рукой

не зря гремит литература
и я созвездием взойду
когда спадет температура
в зеленом бронзовом заду
мелькнет фамилия в приказе
и поведут на якоря
победно яйцами горя
на мельхиоровом пегасе

дерзай непризнанный зоил
хрипи животною крыловской
недолго колокол звонил
чтоб встать на площади кремлевской
еще на звоннице мирской
возьмешь провидческую ноту
еще барбос поднимет ногу
у постамента на тверской



в итоге игровой сечи
в моторе полетели свечи
кончак вылезает из авто
и видит сцену из ватто
плашмя лежат славянороссы
мужиковеды всей тайги
их морды пристальные босы
шеломы словно утюги
повсюду конская крошка
евреев мелкая мордва
и ярославна из окошка
чуть не заплакала едва

кончак выходит из кареты
с сенатской свитой и семьей
там половецкие кадеты
уже построены свиньей
там богатырь несется в ступе
там кот невидимый один
и древний химик бородин
всех разместил в просторном супе

евреи редкие славяне
я вам племянник всей душой
зачем вы посланы слоями
на этой площади большой
зачем княгиня в кухне плачет
шарманщик музыки не прячет
плеча неловким рукавом
в прощальном супе роковом



что за несвойственные в голову
приходят мысли в ванной голому
когда стоишь двумя ногами
и понимаешь не трудясь
что меж античными богами
таких не видел отродясь
а между тем повыше ярдом
к аплодисментам голодна
известным лириком и бардом
прослыть мечтает голова
живите в дружбе члены тела
как бы золовки и зятя
чтоб вас космическая тема
не занимала в час мытья
не дело преть в презренье кислом
ходите в душ по четным числам
где бойлер голубем галдит
и голова с глубоким смыслом
на ноги голые глядит



в тесноте нефтеносной системы
не имея товарной цены
деликатные птицы свистели
аккуратные травы цвели
в середине иного куплета
бронбойные шершни вокруг
простирали к начальнику лета
шестерни одинаковых рук
лопасть света росла как саркома
подминая ночную муру
и сказал я заводу райкома
что теперь никогда не умру

в пятилетку спешила держава
на добычу дневного пайка
а заводг недвижно лежала
возражать не желая пока
ей понятно устройство системы
реактивное небо над ней
а кругом духовые секстетты
подгоняли движение дней
но земля ликовала улыкой
в межпланетном просвете окна
и одной осторожной улыбкой
никогда повторила она



пока страна под меринном худым
разводит ноги до кровавых пятен
мы до инцеста любим отчий дым
и труп отца нам сладок и приятен

сограждане содомляне орлы
закладывайте мерина в поездку
не то как раз президиум орды
поставит в кулинарную повестку

пленарный завтрак всех колен и рас
содружество портвейна и солянки
трубит оркестр прощание славянки
с евреями по счастью в этот раз

державный смотр досужим иокастам
играй в штанах могучий кладенец
пока славянка стонет под оркестром
и красного в стакане по венец



уже и год и город под вопросом
в трех зонах от очаковских громад
где с участковым ухогорлоносом
шумел непродолжительный роман
осенний строй настурций неумелых
районный бор в равнинных филомелах
отечества технический простой
народный пруд в розетках стрелолиста
покорный стон врача-специалиста
по ходу операции простой

америка страна реминисценций
воспоминаний спутанный пегас
еще червонца профиль министерский
в распластанной ладони не погас
забвения взбесившийся везувий
где зависаешь звонок и безумен
как на ветру февральская сопля
ах молодость щемящий вкус кварели
и буквы что над городом горели
грозя войне и миру мир суля

торговый ряд с фарцовыми дарами
ночей пятидесятая звезда
на чью беду от кунцева до нары
еще бегут электропоезда
минует жизни талая водичка
под расписанием девушка-медичка
внимательное зеркало на лбу
там детский мир прощается не глядя
и за гармонию подгулявший дядя
все лезет вверх по голому столбу

вперед гармонию дави на все бемоли
на празднике татарской кабалы
отбивших срок вывозят из неволи
на память оставляя кандалы

вперед колумбово слепое судно
в туман что обнимает обоюдно
похмелье понедельников и сред
очаковские черные субботы
стакан в парадной статуе свободы
и женщину мой участковый свет



какие случаи напрасные везде
недоумения пехотные окопы
и нет у лошади советчика в езде
ни у неясности наставника охоты

бывало паузу в песчанике проешь
себя же в задницу коленями толкая
но остановишься и некуда промеж
раз по бокам фортификация такая

врубают стерео в моторе ток силен
мослы текинские в старорежимном ворсе
окликнешь кореша из сумерек семен
и ждешь уверенный а он григорий вовсе

совиный выводок молочный коридор
стожары высветили лопасти ушные
что за умора что за камень-конемор
не описать какие случаи смешные

все передвинуто не помнит прошлых мест
под током трещина считает обороты
а тело теплится крошечный камень ест
и жить дрожит и держит ножик обороны



пока переживать созданию не больно
наследным недорослем после дележа
безмолвствует оно и думает невольно
взволнованную речь на привязи держа
в свистящем воздухе пасется мышь слепая
подводный крокодил мелькает на волне
но в центре трех стихий по камешкам ступая
уже не вовсе зверь еще не бог вполне
кругом восторженные ангелы и гады
мигают нимбами и пресмыкнуться рады

помедлит возгордясь на разводном мосту
тюльпан затеплится в петлице вицмундира
где время празднует на пристани мортира
с цветком на лацкане с безмолвием в мозгу
любезный воздух мой и ты моя вода
и гад заоблачных ненужное летанье
невидимых камней подземная война
все передано мне в удел и пропитанье
который на мосту от радости стою
то речь проговорю то музыку спою

так думает оно пересыхая в шепот
а ночь его сестра как неизвестный негр
с подследственных небес свергает звезды в штопор
и магменный язык зовет из древних недр
но существо не замечает эту гостью
и переходит мост постукивая тростью



как я выгляжу серьезно
отражаясь от воды
все лицо мое серозно
вроде узника орды
то ли жизненные соки
скифский холод прохватил
то ли таллиевой соли
с угощением проглотил

крепко спит мое либидо
как в торосах колыма
знать была ему обида
от чрезмерного ума
просыпаюсь в сильном горе
прямо в ванную ползу
где лицо мое нагое
опрокинуто в тазу

тяжко жить голуба люций
без внимательных подруг
от младенческих поллюций
до приапových потуг
то ли резвого мальчонку
для острастки завести
то ли с горя на мошонку
нож кухонный занести



зачем луны румяный овощ
поет усталым голоском
и от людей какая помощь
в большом запое городском
там гегемон как некий голем
живет единым алкоголем
с радиоточкой и котом
но он страдает не о том

в окне свирепствует европа
сквозные улицы пусты
уже какого-то укропа
готовы целые кусты
немногословные собаки
едят скелетики салаки
прохожий занялся грехом
на детской девочке верхом

напрасно девочка умрет
кирпичный дым над миром замер
на крестовину ставни запер
труда чрезмерного урод
портвейна временный правитель
и пьяный кот его приятель
с радиоточкой молодой
рекордный помнящей удои



над нами глумились тираны
мозги с колыбели ебли
а матери наши стирали
и в школу совали рубли

мы были недобрые дети
в подпольном больном мятеже
но глупые матери эти
понять не умели уже

на свадьбах партийных гостили
трезвели в приокском хвоще
при этом усердно костили
каких-то тиранов вообще

мы верим в страдания наши
как в зайца лихие ловцы
не нам ли березовой каши
в штаны подсыпали отцы

давайте рассудим научно
спокойно в траве полежим
нам умные боги нарочно
устроили этот режим

убогие братья тираны
нелепая в липах родня
пудовые наши тетради
с глаголами судного дня

я с детства такие мараю
я роци свожу на корню
и этой банальной моралью
к соитию музу клоню



ничего не жалею теперь я
ежедневным вертась воробьем
за старинную доблесть терпенья
и воды вертикальный объем

этой греческой птицы манеры
смотровые деленья котла
темперамент гренландской морены
разутюжившей душу дотла

в отпуску мои детские боги
все бывшее в себя влюблено
педагоги мои педоноги
брахорукие псы облоно

золотой олимпийской оливой
инуитским китом на кости
не упряместуй воде торопливой
воробьем воробьем посвисти

в кристаллическом звоне зимовья
где и мозг незаметный затмен
ни ума ни огня ни зубов я
ничего не желаю взамен



невидимую жизнь морскую
писать с натуры не рискую
по всей земле кишит змея
эфир колибрями летаем
один за всех необитаем
живу хоть сопли из меня

несметны вражеские звери
жуков непуганные тьмы
такие медленные змеи
с продолговатыми детьми
и царь природы отцебык
забыт поодаль от собак

вот краски прежнего пейзажа
цветные птицы голодны
больного автора пужама
прибор промозглой головы
сегодня смерть его невеста
змеи родительской лютей
но смерть науке неизвестна
она лишь опиум людей



под каждым годовым деленьем
людей встречаю с удивленьем
один блондин второй араб
других каких-нибудь пора б

я тоже родом из младенца
как из растения бревно
но если толком приглядеться
с девицей спутать мудрено
нас эта разница простая
гнетет в мужчину вырастая
один прораб второй еврей
других каких-нибудь скорей

оставьте русскому россию
возьмите немца под конвой
позвольте бедного разиню
ходить без лычки полковой
пускай не слишком понимает
плевки с паркета поднимает
любой народ его ласкай
другой какой-нибудь пускай



я убит стремительным гранатом
древних дней голуба и орел
на меня патологоанатом
херочинный ножик изобрел
почестей покойному не надо
он усоп как на зиму барсук
разве вот варшавский пакт и нато
саданут над гробом из базук

срочной гибели макет олений
зрак невозродимого быка
из одних обыденных явлений
молодость устроена была
за коцитом светляки и сваи
комаров коммерческие стаи
дворников дамасские мечи
святки в инсулиновой палате
корешки квитанций об уплате
ниагары пролитой мочи

жаль я музыку играть не гершвин
бритым бархатом ушей не грешен
вепрь недреманный хоть тот же лось
жалко умер вот не то б жилось



за ваши прелести толпа
не предлагаю и клопа
мне гадки эти идеалы
как запах из-под одеялы
куда нежней сидеть в окне
погоде радоваться разной
корячиться петрушкой праздной
на кукловодном волокне
и публике срамное место
казать навроде манифеста

на падуге парит паук
в партер поглядывает веско
он председатель всех наук
сугубый кавалер юнеско
ужо паук поди домой
ты родственник членисторукий мой
а тот в партере супоглазый
широкожопый как сибирь
позвольте оделить угрозой
обиду нанести свербит



в ту пору река мне была велика
устав с монастырским обетом
и сосны над плесом неслись вертика-
льно все они были об этом
в те годы вода мне была не нужна
и женская кожа в просветах нежна

пока расточался любви производ
планеты паслись хорошея
в людское сословье меня произвел
причудливый жест акушера
в эдемских лесах где нестреляный лось
и папоротники под гребенку
наследное тело мое родилось
еще не по мерке ребенку
мне егерь отмерил широкий надел
железный жетон на запястье надел

но в пойменный год на излете реки
евфратские лоси в дубравах редки
но молния бьет по живому
заметив его по жетону



под родительский кров возвращаются сны прямиком
словно стая коров перешедшая вброд рубикон

перелетные сны переметные дни без числа
в календарных как совесть набросках бумага честна

эта крестная высь эта мазь эта легкая ось
вологодская рысь костромская сова переделкинский лось

под родительским кровом коров моровые гробы
наблюденье земли челобитье у каждой травы

черногубая речь червоточина пули в башке
ледовитая лета и все мое детство вообще



под светооборонными очками
глаза повернуты в меня зрачками
серьезный мозг хлопочет как пчела
под стрелчатými сводами чела
поет впотьмах шершавый шкив привода
гриппозный плюш испариной покрыт
и вся необъяснимая природа
с колосников на падугах парит

меж тем по эту сторону стекла
несут ко рту безропотную руку
по образцу швейцарского стрелка
вслепую наводящего по фрукту
ушной радар вращается на зов
двойные ноги сдвинуты невинно
внутри однако действия не видно
секундомер не сорван с тормозов

а ночь кругом стремительно свежа
как перехваченный полет стрижа



присуждают иксу кандидатскую степень
запускают в науку неловкой совой
в триумфальном желудке немотствует цепень
ежечасные свадьбы справляя с собой
не расслышать банкетных гостей голоса
паразиту в желудке икса

одолев снеговые ленгоры
не чета заводской вшивоте
кандидату дорога в членкоры
с неизвестным зверьком в животе
он пожизненный химик союза
победитель идейных химер
и такому иксу не обуза
тихой фауны частный пример
можно в водку ему доливать сулему
но легко околеть самому

даже лучшие силы науки
в похоронные свозят места
чтобы род продлевали навеки
безымянные дети глиста
все одно не про них новодевичий рай
хоть и тоже они умирай



предмет наблюденья природа
в любое взгляни озерцо
в извилистой шкурке микроба
особая жизнь налицо
в ином носороге отдельном
всемирная совесть тяжка
как самоубийца в отельном
окне накануне прыжка

я сам на людей удивляюсь
какие у жизни сыны
когда в туалет удаляюсь
неловко присесть у стены
зачем нас рождает утроба
отцовская учит лоза
когда у простого микроба
научных идей за глаза



на пыльных равнинах невады
в урочище адских огней
мы гибели были не рады
и втайне жалели о ней

в тифозном провале небраски
сквозь оспенно-млечный ручей
кончины чрезмерные краски
горчат в катаракте очей

мы тщетное небо просили
ознобом костей не ленить
но не было в сердце росии
которую проще винить

прощайте голубки гулага
гортанный авгур монпелье
богемных мгновений бумага
почетные речи в петле

ландшафт ослепительно солон
у врат радаманта сиречь
где негде провидческим совам
мышей вдохновенья стеречь

невадские в перьях красотки
жуки под тарусской корой
и нет объясненья в рассудке
ни первой судьбе ни второй



беотия иония
евксинская вода
плыви моя ирония
как лодочка вон та
в исландию в эстонию
за ледовитый понт
пока не вплел в историю
мустьерский геродонт

от выхина до усова
как мертвая петля
со мною муза брюсова
пылила и пила
не подбирая раненых
с гудронного одра
от ховрина до раменок
текла моя орда

до мраморного гравия
в акрополе дыра
обрыдла география
в историю пора
в изгнании заслуженном
в оставшихся веках
крошиться поздним ужином
у клио на клыках



судьба была сметана
картофельный обрыв
над ней лицо светало
все челюсти открыв
в желудке пело эхо
не тяготясь бедой
что иго это эго
со всей его едой
что прах его иконы
и голос не силен
пока в юдоль икоты
рассудок поселен

на этот сон великий
дурманные луга
будильник всех религий
нацелен из угла
чтоб спящий губы вытер
ногой поправил стул
сложил штаны и свитер
и свет со свечки сдул



когда любовь слетается в орду
сплетая небо из ольховых веток
свет голоса слипается во рту
зазубренном и бой в запылях редок

взойдут глаза и горлом хлынет ночь
очерчивая отчие кочевья
и ворона над хлябью вскинет ной
с тяжелого линейного ковчега

еще вода над адом высока
тресковый ключ китовый зуб и ворвань
но раковин и мокрого песка
на палубу срыгнет серьезный ворон

в подводном поле пепел и покой
там не горела вера и за это
татарским юртам не было завета
и радуги над ними никакой



отмерена жизнь славянину
в какое стекло ни смотри
пасти по дугам солонину
и в поле полоть сухари
значительно немец хитрее
творец межпланетных плотин
и сведений нет о евреях
который за это платил
под небом прогресса с телком и свиньей
живет человек обоюдной семьей

проснись многозубая масса
от газы до самой чумы
строители мысли и мяса
морали прямые чины
апостолы спасской сибери
в ботве соловецких бород
сионские тролли седые
и шиллеры наоборот
борцы за идею уходят с ковра
в лицо эволюции светит корма

нам вечность поставила ногу
в веселые спицы турбин
высокую судную ноту
ночной магнавокс протрубил
напиток истории выпит до дна
безносые предки стучатся в дома



на шоссе убит опоссум
не вернется он с войны
человек лежит обоссан
в сентрал-парке у воды
второпях портвейну выпил
не подарок он семье
и моча его как вымпел
тонко вьется по земле
спят проспекты и соборы
воры движутся с работы
с толстой книгой и огнем
ходит статуя свободы
грустно думает о нем
сны плывут в своей заботе
как фонарные шары
в сентрал-парке на заборе
сохнут ветхие штаны
вянут юноши в пороке
делят девушки барыш
спит опоссум на дороге
засыпай и ты малыш



мой сосед семен никитин
царь пирита и слюды
из америки не виден
словно молния с луны

про алтай и водный слалом
не расскажет мне теперь
потому что в сердце слабом
места не было терпеть

помню жили через номер
рассуждали про режим
я живой никитин помер
от судьи не убежим

там на кладбище райцентра
золотые вензеля
наша братская плацента
мать твою сыра земля

там средь маковых головок
гнет режима не силен
отдохни теперь геолог
скоро свидимся семен



парафиновый пар у рта
военбред на гребне ура
звон термометра до утра
терпеливые доктора
терапевт зачихнул рожок
сигаретный огонь зажег

гонит ствол кубометры сока
просыпается лист в лесу
обалдевшая в сучьях сойка
краеведческий крот внизу
здесь колхозник пройдет с винтовкой
за белесой лисой-плутовкой
у глазниц в серебре кора
видно выздороветь пора

отлегает военный запах
сигареты ему вредны
продвигается день на запад
загорается свет внутри
зебра ночь от берез в полоску
к водопою она не зла
нежно дышит в лицо подростку
и никак умереть нельзя



когда летишь через атлантику
сродни тунгусской головне
слезоточивому талантику
темно и тошно в голове
кругом беззвездный воздух громок
несут напитки и еду
и скальп тесней чем детский гробик
на осажденном невском льду

так на границе сна и яви
смыкая можно и нельзя
тьнь спрашивает это я ли
в летейском ялике скользя
сошлись голконда и голгофа
в земле загробного житья
и первое лицо глагола
употребить не может я

звонит железная цикада
прошив пространство галуном
как бы из тютчева цитата
грохочет в небе голубом
теперь одно у тени средство
развеять сумерки челу
вернуть земле ее наследство
и не учиться ничему



апостолам истории
на медные гроши
бесспорно и крестовые
походы хороши
когда нарыв прорвался
по древнеримским швам
от гнойных вен прованса
по иорданский шрам

пускай твердят европа ведь
ей свет пролить дано
цветкова эта проповедь
не трогает давно
иной народ поплоше
стократ родней ему
за что и был попрошен
с истфака мгу

волнуйся и карабайся
на тибрские врата
орда моя арабская
китайская братва
гряди иранец дерзкий
по звездам время сверь
к манежу где имперский
хрипит ощерясь зверь



госсекретарь в миру сенатор маски
моей экс-родине не строит глазки
я сам хоть мне и маски не указ
любовью к ней немного поугас
а помнишь днепрогэс реки великой
угодья анилиновой ботвы
воскресники в сраженьях с повиликой
и девочек учебные банты
субсветового миг-а харакири
фаллические тополя в дыму
где лабухи шопена хоронили
жмуров дворовых жертвуя ему

отпало жизни первое звено
лишь в фэбээр в досье занесено

за все тебе курносая отвечу
пой жизнь мою соловушка с листа
но выражение походя отмечу
несбщее на карточке лица
госсекретарь командует погодой
берет генсек натуру в щенкеля
мать музыка пиздует за подводой
в трубе как тромб шопена шевеля



декабрьское хмурится в тучах число
дворы воровато безглазы
дорогу домой до бровей занесло
закладывать тройку без мазы
откупорим сдуру бутылку вина
в печи пошуруем железкой
но с подлинным ночь с оборота верна
хоть зеркало к фене растрескай

такие на ум парадоксы придут
с мадеры в декабрьском бреду нам
что будто и дом наш и этот уют
тургеневым кем-то придуман
что даже в устройстве природы самой
знакомое видим перо мы
и нет под снегами дороги домой
в твердыню полярной плеромы

СОСТОЯНИЕ СНА

поэма

Однажды Спящий оказался в небольшой выбеленной комнате вроде больничного покоя, откуда ему был виден в окно как бы зеленый луг в низкой и густой траве до самого горизонта. Встав, он прошел по коридору наугад в большую палату, такую же белую и неестественно светлую. Вдоль стен тянулись ряды железных коек, на которых лежали какие-то живые создания. Он с отвращением увидел, что все они были землисто-бурого цвета — на снежных простынях покоились их гибкие члены, не имевшие суставов в ожидаемых местах, зато иногда — в неожиданных. Все это шевелилось с тихим шелестом. Лиц не было, или не было видно, но отдельно в воздухе висело выражение тупого страдания.

У одной из коек стоял некто в белом халате, почти человек, если бы лицо его странным образом не ускользало от лобового взгляда. Этот белый то ли делал лежащему существу укол, то ли еще как-то его мучил. Существо не кричало, не имея рта, но быстро дергало худыми извилистыми конечностями. Спящий, у которого эта сцена вызвала дурноту, поторопился покинуть палату. Дверь напротив вывела его на веранду, залитую слепящим полуденным солнцем. Там, по двое и в одиночку, ходили люди во фланелевых пижамах и халатах. Изредка среди них пробегали безликие в белом, с блестящими инструментами в руках.

Веранда огибала все здание по периметру. Всюду была яркая и густая, словно только что подстриженная, трава. Горизонт лежал дальше и выше обычного, видимый как бы со дна огромной котловины. На этом зеленом фоне там и сям рельефно лепились в хрустальном воздухе совершенно одинаковые длинные строения дачного образца, такие же, как и то, в котором сейчас находился Спящий. До ближайшего было, на взгляд, километров десять.

Выйдя на северную оконечность, он обнаружил чугунный забор, высотой в рост человека, бегущий по всей равнине. Прямо напротив приходились запертые кованые ворота с ажурной аркой наверху, составленной из чугунных букв. С другой стороны к забору вплотную подступал город, по-видимому тот самый, в котором Спящий жил в последние годы. Город был необыкновенно тих и малолюден. Буквы стояли лицевой стороной наружу и лишь с усилием складывались в слово. Слово это было «Преисподняя» — необъяснимая высокопарность; разве что из расчета, что из двух букв арки не составить.

По всем сторонам дома в траву сбегали широкие лестницы в алебастровой лепнине. Но здешние обитатели явно предпочитали не покидать веранды. Спящий сошел по ступеням на упругий травяной ковер — проверить, не запрещено ли это. Никто из гуляющих и персонала не обратил на него внимания. Он еще раз обошел все здание, затем поднялся на веранду и присоединился к остальным «пациентам».

В это мгновение из глубины дома донесся удар гонга. Все выстроились в длинную ровную очередь, разговоры затихли. Двое служителей выкатили большой цинковый бак, из которого валил пар и пахло съедобным. Спящий почувствовал такой острый приступ голода, какого никогда прежде не испытывал, и поторопился занять место в шеренге. В то время как один из служителей ловко орудовал половником, другой подавал подходившим маленькие жестяные миски. Когда подошел его черед, Спящий, принимая свою порцию, вновь попробовал взглянуть в черты лица служителя. У него опять ничего не вышло — невозможно было даже определить, мужчина это или женщина. В миске оказалась какая-то жижица вроде овсяной каши. Ее было совсем немного, но достаточно, чтобы утолить голодный спазм.

Солнце между тем продолжало неподвижно висеть все в том же месте, чуть ниже зенита. Свет его был непереносимо

резок и ровен, но без ожидаемого жара. «Пациенты» продолжали свой нескончаемый моцион; некоторые сидели за столами, играя в карты и домино; кое-кто стоял, облокотившись на перила и сосредоточенно глядя в траву. Даже стариков, а их здесь было большинство, не клонило в послеобеденную дремоту. Никто не шел спать — да было, очевидно, и некуда, все внутренние помещения были отведены под палаты с коричневыми уродцами и под какие-то таинственные службы, доступ в которые был открыт только персоналу.

Тем временем город за чугунным забором постепенно оживился. Похоже было, что на смену долгой ночи там пришло утро, хотя по солнцу судить было нельзя. С наружной стороны к забору стали стекаться люди. Это, судя по всему, были родные и близкие здешних обитателей. Обе стороны тихо переговаривались через решетку, протягивали сквозь нее цветы и маленькие свертки. Многие лица были в слезах. В это время отперли ворота, и один за другим в город отправлялись служители, сменив униформу на обычное платье и оказавшись ничем не примечательными молодыми людьми, мужчинами и женщинами. На смену ушедшим сходились новые. Привозились и разгружались различные припасы в ящиках и мешках. Те, что стояли у забора, даже не пытались подойти к открытым воротам.

Это было все — и все повторялось. Беспрерывно светило высокое солнце. Каждые три-четыре часа ударял гонг, выкатывали бак, и желудок обмирал от невозможного голода. Каждое утро, если это было утро, к забору сходились городские жители, и начинался тихий разговор. Служители уходили, приходили новые, и нельзя было понять, сколько их и кто они. Со всех сторон простирался изумрудный луг в белых крапинах строений, ровный и безлюдный.

Постепенно Спящий познакомился со многими из тех, с кем он делил теперь свою участь. Они пересказывали ему свои скучные воспоминания о жизни по ту сторону забора. О здешнем разговора не было, так как все было одинаково. Сам он тоже не стеснялся говорить о себе. Но близости с собеседниками не возникало. Все они воспринимали случившееся как бесспорный факт. Спящий же полагал, что в его случае имела место ошибка, и надеялся на перемену.

Одна женщина казалась ему знакомой, но он не понимал или не мог припомнить смысла этого знакомства. Женщина

чаще сидела одна, редко с кем заговаривала и была, как видно, подавлена происходящим. Спящий вскоре довольно коротко с ней сошелся, и они принялись обдумывать планы совместного избавления.

Однажды в размеренном распорядке случился перебой. Ночная смена служителей разошлась, а утренняя медлила появиться. Между тем ворота стояли открытые. Люди, шептавшиеся у забора со своими безутешными родственниками, невольно начали коситься на открывшийся путь к побегу. Мало-помалу некоторые собрались с духом и прокрались на волю. Это необъяснимо испугало родственников, и они тотчас рассеялись в переулках. Постепенно самые нерешительные из узников тоже ушли в город.

Спящий, со времени первой разведки ни разу не покидавший здания, остался на веранде и глядел сквозь забор на опустевшие тротуары города. В дальнем углу сидела его знакомая; на столе перед ней порыв ветра перепутывал пасьянс. Кроме них двоих в здании, очевидно, никого не было — только гуттаперчевые обитатели палат, издававшие в наступившей тишине какое-то жуткое воркование.

Прошло с полчаса, и беглецы стали возвращаться. Они появлялись по одному, глядя в землю и пощелкивая фалангами пальцев в пижамных карманах. Спящий посовестился расспросить их о случившемся. Следом явились служители опоздавшей смены, заперли ворота и, как ни в чем не бывало, принялись раздавать пищу. Знакомая Спящего со значением взглянула ему в глаза, когда они случайно сошлись в южном пролете веранды.

На следующий день они вместе ушли в противоположную городу сторону, вдаль по луговой зелени, в направлении ближайшего белого дома-близнеца. Их, по обыкновению, никто не остановил, никто не обратил на них внимания. Всего по расчету им предстояло часа два пути.

Но проверить время было негде. Они шли уже довольно долго, скользя голыми ступнями по прохладной траве. Солнце не двигалось с места, и так же, казалось, не двигалась с места цель их путешествия, тогда как начальный пункт его послушно удалялся. Луг становился зеленей и шире, небо — голубее и глубже. Далекий город растягивался в ровную зубчатую змею.

И когда неодолимая дистанция начала понемногу сокращаться, а здание впереди заметно выросло, исчезающая

даль донесла до путников тяжелое биение гонга. Они едва обменялись беглым взглядом и повернули назад, постепенно ускоряя шаги и переходя в судорожный и сосредоточенный бег.

Не добежав немного до веранды, Спящий остановился перевести дух и подождать свою заметно отставшую спутницу. В это время служитель, все еще разливавший по хлебку, поднял голову и взглянул на возвращающихся. У него было доброе и розовое лицо в бисеринках пота. Он улыбался.

1985

ЭДЕМ

Into my heart an air that kills
From yon far country blows
What are those blue remembered hills,
What spires, what farms are those?

This is the land of lost content,
I see it shining plain,
The happy highways where I went
And cannot come again.

A. E. Housman



подросшее рябью морщин убирая лицо
в озерном проеме с уроном любительской стрижки
таким я вернусь в незапамятный свет фотовспышки
где набело пелось и жить выходило легко

в прибрежном саду георгины как совы темны
охотничья ночь на бегу припадает к фонтану
за кадром колдунья кукушка пытается форту
и медленный магний в окне унибромной тюрьмы

отставшую жизнь безуспешно вдали обождем
в стволе объектива в обнимку с забытой наташкой
в упор в георгинах под залпами оптики тяжкой
и магнием мощным в лицо навсегда обожжен

и буду покуда на гребень забвенья взойду
следить слабосердый в слепящую прорезь картона
где ночь в георгазмах кукушка сельпо и контора
давалка наташка и молодость в божьем саду

Четыре взрослых человека у обочины дороги, лицами в затылок друг другу, заняты непонятым. Первый поднимает руки над головой и хлопает в ладоши, второй тотчас приседает и разводит руки в стороны, третий тем временем успевает обернуться вокруг своей вертикальной оси, а четвертый попеременно падает и встает, кажется не нарочно. Люди эти крепко выпили и теперь идут описанным образом вдоль Волоколамского шоссе, хотя ни у кого нет в этом направлении ни родных, ни знакомых. Водка и труп человека дивные дива творят. У лысого, который вертится, есть, правда, шурин в Одинцове, но это совсем в другую сторону. Время к ночи, и редкие проезжие, торопясь по домам, не успевают даже удивиться.

А между тем совсем в другом месте, в центре Москвы, на балкон гостиницы «Россия» выходит командированный из города Дно Псковской области. Он отложил недочитанный роман В. Пикуля и тоже, кажется, хотел бы выпить, но пропиты уже и командировочные, и даже совсем посторонние деньги. «Боже, как скучна наша “Россия”!» — говорит он и уходит обратно в номер. Фамилия его, между прочим, Пушкин — но это другой Пушкин, Виктор Антонович.

Настоящим стихотворением в прозе автор открывает свою новую серию стихотворений в прозе. Серия состоит из одного стихотворения в прозе.



мы стихи возвели через силу
как рабы адриановы рим
чтоб грядущему грубому сыну
обходиться умелось без рифм
мозг насквозь пропряла ариадна
били скифа до спазма в ружье
чтоб наследным рабам адриана
развиваться без рима уже
кругозор населения уже
и не каждая баба при муже
но бесспорный аларих орел
он штаны нам носить изобрел

в наши годы бои не стихали
но в невинной мечте доползти
мы полки поднимали стихами
в кровь сбивая шрифты до кости
звезды в реках текли недвижимы
степь текла под копыта коней
и враждебные наши режимы
доживали в обнимку на ней
ночь была без имен и названий
мы следили за ней из развалин
отличать не по рангу смелы
римский меч от парфянской стрелы

протяни онемевшему небу
тишины неуместную весть
святой боже которого нету
страшный вечный которого есть
одеи моисеевой кашей
загляни в неживые глаза
пуст ковчег зоологии нашей
начинать тебе отче с аза
на постройку ассирий и греций
в хороводе других парамедий
возводить карфаген и шумер
вот такие стихи например



круче плечи темя плоче
уши зоркие вперед
подотечественник в роще
соберезовик берет
почвы поздний пот любовный
ежедачный сбор грибовный
в паре кубовых штанин
патриот и гражданин

в рощах лиственных нередок
грибовиден и двурог
человека крепкий предок
вящий дарвину урок
на алтарь своей науки
небо скатывает в штуки
звезды в дежах солит впрок

этот древний аллигатор
враг пространства и змея
всех столетий арендатор
доли требует с меня
с первых дней такого детства
я живу по книгам бегства
в кислых звездах надо мной
суп вращается грибной



народ не верит в истину вообще
а только в ту что в водке и в борще
мы постигаем ход абстрактной мысли
на практикумах в школе и семье
где всем по норме наливают миски
но вдвое полагается себе

не верит нготь в право ножниц стричь
свинья не верит в студень
в солнце сыч
писатель пруст не понят населеньем
не чаёт ржи пейзажники за межой
и смерть сама у многих под сомненьем
за явным исключением чужой

везут с полей на всех довольно каши
кипят в борще несметные стада
одно беда что сострадальцы наши
по одному уходят от стола
ни борова ни пруста ни сыча
сквозь мрамор нготь строен как свеча



заглянем в решенье ландшафта
ольховых плетений и лоз
где спрятана скажем лошадка
везущая хворосту воз

там витязь двуручной стамеской
разносит в щепу ворота
светила науки совместной
жидовского жучат kota

страна трепака и жар-птички
стахановский суслик степной
парадов чумацкие брички
яга под кремлевской стеной

однажды в созвездье твереза
в снегу по слепые сердца
петра непечатная греза
европы меньшая сестра

жена зелена и упруга
кукушкой ревут времена
и жалко лошадку как друга
за то что в лесу умерла



натянешь на старости дней
носки поплотней и пижаму
и шепчешь скорее стемней
прилипшему к векам пейзажу

мгновенно припомнишь дотла
квартиру с ее обстановкой
где светка впервые дала
урок анатомии ловкой

петренко на кухне сидел
орудуя тщательным гребнем
и было как в бочке сельдей
людей в этом городе древнем

затем от заречных лачуг
где нож в обиходе нередко
с вином приезжал ровенчук
а светку работал петренко

в тот год в кинозале прибор
гремел гэдээровский вестерн
чтоб города житель прямой
смотрел его с женами вместе

соседка одна умерла
холерная крепла зараза
но жив еще был у меня
отец подполковник запаса

ГОРОД, ГОРОД

Режиссер кукольного театра Наум Заславский женился, после пяти лет близкого знакомства, на Тане Каждан, художнице, дочери художника. Теперь они живут в новом некрасивом девятиэтажном доме в среднем течении Проспекта. В таких домах думают о мебели, о молоке, о копоти, летящей со Сталелитейного. О счастье вспоминают редко.

Теперь возьмем Ровенчука из заречной редакции. Этот исчез без следа. Прежде он бил из дробовика ворон на городской свалке и имел любовницу в одном цыганском селе. Любовницу ему уступал муж, но брал за это деньги. А еще раньше Ровенчук служил в милиции.

Логач был посредственным поэтом и круглым циником. О нем говорили, что он стучит. Раз на свадьбе его столкнули с балкона пятого этажа, и он разбился насмерть. У него была жена Валя, она должна помнить о нем — больше о нем помнить некому. Логач был объявлен самоубийцей.

Саша Реутов всегда появлялся в обществе какой-нибудь юной красавицы. Красавиц своих он неизменно именовал зайчиками, заочно и в глаза. Он закончил философский, но называл себя социологом. В день диплома, на вечеринке, он тоже упал с балкона — говорил, что случайно. После этого Саша отпустил бородку, ходил на костылях и полюбил подводную охоту. О Логаче он вряд ли слышал.

Поэтами были также Петренко, Бондарев и Ковтун. Все трое очень любили женщин и с удовольствием об этом рассказывали. Петренко был хром на обе ноги и вскоре женился. Он жил с женой в собственном доме на Воробьевке. Бондарев ездил на острова с одной десятиклассницей. Ковтуна посадили за групповое изнасилование, а он был добрый человек в очках.

Цветков долго учился в разных университетах. У него были способности к иностранным языкам. Поэтому он работал переводчиком, а потом еще репортером где-то на периферии, корректором, рабочим сцены, ночным сторожем. В конце концов он уехал жить в Америку. О нем писали в газете как о растлителе душ, хотя многие думали о нем иначе. Для Данченко, например, он был идеалом и наставником.

Что касается самого Данченко, то он вместе с одной знакомой забрался в канализационный колодец, и там они приняли нембутал. Их разыскивали три дня. Знакомую удалось спасти, но у нее вылезли все волосы. Данченко прожил всего семнадцать лет. Он хотел бороться с режимом.

Игорь Водопьянов был другом детства Цветкова. Он любил стихи и классическую музыку. Мать у него была сумасшедшая и однажды прямо в квартире повесилась. А его сестру муж застал в постели с сослуживцем. Игорь с сестрой давно уехали.

А Ляшенко тоже был другом детства. Но все же он донес на Цветкова в комитет, не по злобе, а со страху и потому, что уже давно там работал. Жена его играла на скрипке, он ее жестоко избивал. Теперь он живет в Заполярье и работает в молодежной радиопрограмме для моряков рыб-флота.

Можно еще вспомнить Вову Скачкова, который был просто школьником. Он был совершенно лысый от какой-то болезни. За это все его дразнили, но он не обижался. Его убили ножом знакомые ребята.

А Таня Малышева работала в областной редакции и была невероятно толста, несмотря на красивое лицо. Она считала себя диссиденткой и все время играла в конспирацию, но редактор требовал, чтобы она вступила в партию. Ей хотелось любви, она давала практически всем.

Теперь возникает вопрос: правда ли все это? Можно сказать, что именно так все и было, и что есть свидетели. Но свидетели сами были соучастниками, и нам издали трудно понять, кто из них свидетель, а кто и впрямь соучастник. Издали вообще трудно понять.

И если есть Бог, а теперь считают, что непременно есть, надо спросить Его, куда девается то, что проходит? Может быть, прошедшее — это все равно что никогда не бывшее. Есть только то, что есть сейчас, а того, что было, сейчас нет. Был город, город, были в нем какие-то жители, но теперь остается полагаться на память, потому что нельзя уже протянуть руку и сказать: вот!



система редких приполярных городов
сгущенных сливок с поясной наценкой
удовлетворение нужд путем народных песен
население так стосковалось по культуре
что называет своих немудрящих дочерей
викторина ольвия идиома

но уже шире подвоз сливового сока
на бедре у ольвии выколото
умру за горячую еблю
сотни собак на безлюдном снегу
поворачивают головы точно по команде
при виде человека правдоумца
заезжего труженика всемирных знаний



сколько мне лет спрашивал старших
они отвечали четыре с половиной
примерял этот возраст как дивное платье
сравнивать было не с чем

весной воробьи под карнизом веранды
мастерили неказистые гнезда
был долго и привычно болен
годами не поднимался с койки
узнавал устройство растений
из прутьев роняемых воробьями
к лету перевезли в павильон
с перил свисали ягоды паслена
на горизонте вертикально стояло море
крутили китайское кино смелая разведка
тайная зависть к этим героям гор

узнавал из кино устройство смерти
серая и длинная вроде крысы
приходилось бояться темноты
четырех с половиной уже недоставало
хотелось быть всегда



подшивали анамнез в альбомы
были шансы мои неважны
но по счастью летальной амебы
доктора у меня не нашли
и пока я трубил в карантине
воротилась к ляшенко жена
а на ковтунской прежней квартире
неизвестная личность жила

в сентябре на проспекте вечернем
где в аптеках иссяк валидол
половым обуянный влеченьем
человеческий плыл вавилон
ночь ли ковтуна в образе женском
увлекла на скамью нарсуда
чтоб одним положительным жестом
полюбил эту жизнь навсегда

мы текли к театральному саду
покупали вино и еду
там ляшенко уламывал ксану
а жена потакала ему
выборovu в дубравах глотали
с непривычки казалась слаба
и любовь подступала к гортани
не умея сложиться в слова



помню пепельное утро
вяза в воздухе пестро
журавлей в лазури утло
ассирийское письмо

в хрустале как приступ астмы
сквер под бременем росы
ослепительные астры
напоследок там росли

очевидно есть причина
вечность прочная одна
что любовь неизлечима
до финального одра

лишь бы поступью обратной
проступала на траве
в сланце рыбой аккуратной
четкой мухой в янтаре



в отрочестве тянуло взглянуть на покойника
тихого желтого с бумажной лентой на лбу
промчаться опрометью через двор туда
где возносит его медный вал музыки
у нас в семье никогда не умирали
некого было любить этой торжественной любовью

когда же открылось что и мы цветковы смертны
лишь издали я сострадал взаимному горю
звонили из детройта передавали по буквам
телеграмму о скоропостижном уходе
музыка медно пела без меня

один из виденных навсегда запал в память
с черными головнями ступней на клеенке
безымянный узник старческой гангрены
а отец в своей новой дюралевой лодке
обоженный первым апрельским солнцем
горбится над упрямым мотором
в безветренном дрейфе времени



голодный глоток нембутала
кладбищенской глины разрез
нам только молвы не хватало
что данченко этот воскрес
он жил на асбестовой с дедом
где в марте платаны черны
неистовым занятый делом
моложе и лучше чем мы
строчил манифест на машинке
зимой из дурдома удрал
и умер почти по ошибке
за нас принимая удар

в начале пасхальной недели
был свет у наташки зажжен
к полуночи было виденье
к ней данченко в гости зашел
в нем не было смертной печали
когда они пили портвейн
пальто и худые перчатки
стихов непочатый портфель
мой же следы без просвета
кромешная ночь замела
в том городе с хордой проспекта
где данченко жив за меня



в парке дубовая роща
очередь точно струна
на обнищание роща
брали по кружке с утра
прочь из отцовского плена
вынесла нас навсегда
кружек ажурная пена
ржавая жертва сельдя

в сумерки вновь на природу
нас поневоле вело
выучил шурик приему
пить в винтовую вино
игорь читал из бодлера
голосом гневно дрожа
завистью печень болела
жизнь оставалась должна
логач желтея от жажды
долгие дни голодал
мы с ним в зарнице однажды
пропили мой гонорар

в высшей судебной палате
участью горше щенка
логач предъявит к оплате
общие наши счета
там на посмертной странице
спишет любые долги
жажда которой в зарнице
мы утолить не могли

ШУРИК И РИММА

Одного приятеля Заславского звали Шуриком. Шурик был почти неуместно рыж. Он сидел за столом, ел густой борщ и глядел на гостей ласково и рассеянно. Он только что вернулся из тюрьмы. Там он отбыл три года за ограбление гастронома.

Грабить магазины как раз входило в обычай. У Петренко под кроватью стояли ящики с водкой, он поил встречного и поперечного. Вермут он приберегал для более нежных свиданий. Так его никогда и не изобличили.

С Риммой Крыжевской и ее подругой Ксаной судьба обошлась хуже. Эти пытались среди бела дня вынести шубы из теткиной квартиры. Но тетка еще прежде хватилась ключа и донесла куда надо. В ожидании суда Ксана принимала соболезнования нагишом в ванне, по горло в пене.

По вечерам сходились в сквере у театра, пили неприятный, как лекарство, портвейн, менялись новостями. Поэт Шаленый, любимец областной организации, поймал сифилис на одной официантке молодежного кафе. Его в голом виде показывали для примера студентам медицинского института. Сухобок бросил свою учительскую работу и пошел в художники. Он писал маслом нежных испуганных девочек с глазами в кулак среди одуванчиков, похожих на велосипедные колеса.

Потом у него сгорел дом со всеми картинами и даже сарай с моторкой. Его жена Наташка руководила танцевальным ансамблем в клубе. Она спала с Данченко и впоследствии основала его посмертный культ.

По вечерам из ресторана «Кутаиси» выходили мальчики с лицами крепче меди, в длинных волосах и польских джинсах. Навстречу им Проспект выплескивал девочек в брючных парах, в платьях отчаянных фасонов. Многие быстрые романы разрешались в близлежащей балке. В магнитофонах рыдала и билась нездешняя музыка.

И если вновь грянет знакомый вопрос — «где ты был, Адам?» — надо ли утруждать себя ответом? Разве не всем и не отовсюду видно это узкое пространство на приречных холмах, залитое липким ртутным светом, пропахшее пету-

ниями, «Шипкой» и плодоягодным вином в рóзлив? Там дежурили похоть и надежда, истерика и аптека. Там и был Адам, пока его не согнул первородный грех, судьба семьянина и сталелитейного труженика.

Последующая жизнь Шурика сложилась обыкновенно. Он пошел на полупроводниковый завод, обзавелся со временем магнитофонной приставкой и даже подсобрал денег на джинсы — настоящий «рэнглер». Кроме того, он прочел от доски до доски «Критику» Канта.

Римма отвертелась от тюрьмы путем беременности. Но она сильно располнела, быстро состарилась и пошла проводницей на пассажирский столичный направления. А прежде она была стройной и прозрачной, писала короткие детские рассказы, до слез умилявшие одного известного писателя. И больше о ней, по совести, сказать нечего.



быть учителем химии где-то в ялуторовске
каждый день садясь к жухлой глазунье
видеть прежнюю жену с циферблатом лица
нерушимо верить в амфотерность железа
в журнал здоровье в заповеди районо

реже задумываться над загадкой жизни
шамкая и шелестя страницами
внушать питомцам инцеста и авитаминоза
правила замещения водородного катиона
считать что зуева засиделась в завучах
и что электрон неисчерпаем как и атом

в августе по пути с методического совещания
замечать как осели стены поднялись липы
как выцвел и съежился двухмерный мир
в ялуторовске или даже в тобольске
где давно на ущербе скудный серп солнца

умереть судорожно поджав колени
под звон жены под ее скрипучий вздох
предстать перед первым законом термодинамики



облиздат выпустил своевременную книгу
учебник насморка для мальчиков
прискорбная неясность в этом вопросе
теперь рассеяна навсегда

но как еще много белых пятен
действительности не разъясненной наукой
зачем растут несъедобные грибы
созвездия не имеют правильной формы
как нам реорганизовать природу
в соответствии с объективной реальностью

ведь если на закате сойти к реке
там первобытен беспорядок жизни
шумное соревнование вредных видов
обилие голых женских купальщиц
требует срочных мер



переломы срстаются мигом
сколько боли на детство ни трать
древнегреческим фоном и мифом
в дневниковую канет тетрадь
будет мрамор текуч как известка
упразднят временную шкалу
и скелет небольшого подростка
в инвентарном пропишут шкафу

незабвенные кольки и лидки
вопросительный шелест осин
сторона где до памятной линьки
аккуратную кожу носил
в хладобойне хрусталики зренья
вместе с телом снимают с телка
материнского времени звенья
из-за пыльного видим стекла
коновод калидонской потехи
головней уязвленный в стегно
невозвратно записан в потери
созерцать вековое стекло



еще всю живешь и куришь
наносишь времени визит
но в головах дамоклов кукиш
для пущей вечности висит

в такой мгновенный промежуток
строка в контракте не видна
что речь дается кроме шуток
как женщина или война

скоту пристало рвать постромки
стремглав на зимней мостовой
отринув инструмент постройки
миров из пены мозговой

вот только вынесут одеться
дойдет на каменном ветру
и смертный всхлип и крик младенца
стенографируют вверху



рабочий комплект солнечная система
руководство к сборке и эксплуатации
запуск планет в плоскости эклиптики
выключение посредством духовой трубы
труба прилагается к механизму

пионером просился в медную группу
выдали альт объяснили названия нот
предложили освоить гаммы самоучкой
неделю бился над загадкой гармонии
вернул завхозу полный альт слюны

музыка мудрого авторитета меди
встать навтыяжку под ее безусловные звуки
эллиптическое вращение тел удручает
пора сыграть что-нибудь военное
неистовое нам нечеловеческое врежьте
не на износ же гонять эту систему



квадратный двор бидон хирсы на вынос
в стекле пустырь стерильной наготы
взошел себе и рос как вредный вирус
с газонов обгрызая ногти
еще судьба сложилась всех добрее
кто сел за кражу кто за домино
был друг один в очках и себорее
но за хирсу я взялся до него
все про паскаля заводил с одной
потом блевал в смородине со мной

он выдохся а я набрел на выход
счастливый зубр у славы на лугах
лауреатом почестей и выгод
по жеребьевке избран наугад
из сумерек под неудобным грузом
годами продирается ко мне
в полуцивильном кительке кургузом
с прощальным взглядом в роковой кайме

уже непроходима простыня
прозрачного как время пустыря



воздух в паутине перегара
щучье порционное желе
в августе на север пролежала
ветка центробежная жэдэ
стыло сердце пригнанное к ритму
стыками колеблемых купе
на посадке я окликнул римму
с килькой в доморощенном кульке
там на тризне быстрой и суровой
на помин рассыпавшихся дней
мы себя расслабили зубровой
с рыбьими кадавриками к ней
ящик волжского она везла
но с похмелья было мне нельзя

ощупью до ближнего сортира
я дополз пока стоял состав
римма полуночникам светила
челюсти компостера достав
легионы огненных опилок
август раздувал над полотном
молодости тщательный обмылок
в зеркале клубился пояском
молнии ворочала вдали
полночь в облачении вдовы



в ноябрьский озноб с козырька мавзолея
совместные луны горят мозоля
подножье кишит небольшими людьми
идет сизигия гражданской любви

чуть схватит чуть станет в бессмертии грустно
привычные ставни в былое толкни
огромного мяса орущее русло
с утробным гранитом по кромке толпы

крепки в голове духовые ансамбли
медальных не тлеет кольчуг шевиот
доныне в тромбозных ступнях не ослабли
вживленные лезвия маршевых нот

мичуринский убран в желудки картофель
пророческий реет над шествием профиль
пиджачная пара с воздетой рукой
и нужды в бессмертии нет никакой



в полдневную темень на страшном ветру
потухшее тело чернело вверху
но те что расправу вершили
еще разойтись не спешили

один милосердно ускорить финал
меж ребер копьё на полпяди вогнал
по личной какой-то причине
приход облегчая кончине

с душой эта плоть расквиталась давно
но жалю копьё поддалась все равно
кровавую выплеснув воду
на шлемы латинскому взводу

поодаль безгласные стиснув уста
ждал отрок которому прямо с креста
он мать поручал умирая
и петр и мария вторая

от стен где вчера он учил невредим
состав омовенья принес никодим
в льняную укутали робу
и стражей приставили к гробу

уже овчары поднимали жезлы
пасхальную снедь собирали в узлы
и ангел его благовестный
на склон поднимался окрестный

но думалось в горестной спешке петру
что незачем в храм приходить поутру
что время готовиться к тратам
вернуться на промысел с братом

еще не гасила мария огня
вперясь в непроглядную стену
еще в обещание третьего дня
не верилось крестному тлену



в старости блуждать и не бояться
в заповедной впадине реки
ситцевые бабочки двоятся
бронзовые тикают жуки
оползнем разорванный проселок
памяти плакучая лоза
жизнь в стенах пропетая спросонок
наяву не значит ни аза
навзничь всплыть на зеркале багровом
царственной сторицей за труды
в заболоченном краю бобровом
проплутать до ангельской трубы
певчий голос угасает тонко
жизнь прошла остановилась пленка
в дебрях день играет молодой
сизые стрекозы над водой



о загадочной мата-хари или нефертити
слагает стихи один областной талант
пресловутый женский образ которой
запал в сердце за чтением календаря
словоцветия типа мельхиор и вибрион
будоражат невозделанное воображение

по-своему недурна пригородная природа
но в ней дефицит лоска и трепета
разве знакомую свезти на острова
прельстить познаниями в сферах
вечерами кошки шумно предаются похоти
их эволюция в бездуховном тупике
это объяснимо и вполне научно-популярно
но сердце содрогается о вечном
тетраэдр презумпция джамбаттиста вико
так учит непогрешимый календарь

об этом и петь чтобы любое слово
гордилось высоким званием метафоры
пускай за стеной безвредно спит семья
знакомая зовет к материальным издержкам
пускай длится в обгаженных маргаритках
неугомонный коитус кошек



от крайней северной до восточной оконечности
расстояние порядка семи световых рублей
страной правит хор имени пятницкого
обширные уголья засеваются озимой воблой
довольно места культурно отдохнуть

сведения из оккультной географии
рудиментарны и недостоверны
из нравов помню манеру обитателей
пережегать беседу восклицанием бя
это фантом увядающего ума
область куда я беззащитно засыпаю

когда межевали свет и тьму
осталась полоса сверхсметных сумерек
лесостепное кочевое волчье
временами бредится мы оттуда родом

миновало большеглазое время веры
в буку в кинокефала и строфокамила
нынче наука по всему фронту
все бя выдумки происки обскурантов
моя родина геометрия



местная осень по остов обьест
сад что сводили медведки да слизни
область печального образа жизни
гуманитарной науки объект
здесь у корней обескровленной флоры
водки ручей и ветчинные горы
каждый предельную дозу жует
завтрак внезапен как выстрел в живот
лопнул хитиновый житель режима
спазмы внеплановой линьки вредны
и существоемость жизни внутри
недостоверна и опровержима
осень со сна припадает к ведру
птичий скелетик порхает вверху

нежный пейзаж до основы облез
век артефакта мучительно краток
видно отпущено было в обрез
на баловство это зренья и красок
ветер свистит над газетным листом
мысль повисает в сосуде пустом
ниценка ночь калибрует объедки
по чертежам составляет сову
стрелка часов у багровой отметки
в жилистом словно железном саду



готической ночи постройка
в спирту призовые мозги
нам было с сопровским просторно
в большом кашалоте москвы
бетонные ребра синели
дежурная фляжка к бедру
деревья нездешней сирени
над нами шумели в бреду
до стенки рассвета картонной
пешком из бульварной петли
мы шли подкрепляясь картошкой
которую впрок напекли

за поздний урок идеала
я был в этой жизни казним
почти что была илиада
с головкиным вовой одним
я рос дostoевским подростком
любви не щадил на себя
а в этом тщедушном сопровском
был веры запас навсегда
он жил без ущербa и горя
союз ему был не указ
и было не менее года
на каждого жизни у нас



минеральные толщи и слои существ
отделяют от идеальной жизни
так из угла розовогазо
любуется мной недорогая мышь
ее секретное имя бисектрыса

временами прозреваю что я иной
не так наивен как непроницаемый кварц
который существует усердно и искренне
мнимый я лишь концентрация пространства
когда размыкаются внутренние веки
мысль это мышь-иллюзия

это под взглядами красавиц вещей
начинает бытаться и смертнуть
редукция молитвенной параболы
хлеб наш насущный даждь нам снесь

на рассвете ума
томило подозрение заговора взрослых
нас нет отдельно говорил я одной кате
рождение и смерть прообраз и тождество
редукция параболы мира
не отопрутся теперь мне виднее
я сам один из них



ученик озноба и недоумения
навек всеимперский лауреат
автор известной рыбы
собрался и стою с вещами
немного надо рук
часы отзванивают северо-запад
первые угрызения душной зари

станция в испоконных липах
житель с бледной бутылкой наотвес
уговорил себя в клепсидру
соратник по биологическому виду
расплакаться о нем
его лицо
безлюдно

приходят какие-то проститься
под ногами с визгом и скрежетом
растет трава



признание в любви некрасивой девушке
дружба двух предсмертных старичков
вера в необходимость дворового пса
сиюминутные хрупкие предметы

но если в этом чрезмерно преуспеть
наблюдать планеты и кротко гербаризировать
но если на лавочке в солнечном чаду
в кругу нежных малюток и пчел

в тени сердца произрастает камень
тела ветвятся на мраморе метро
какой-нибудь гунявый брежнев кому
он трогателен своей тщетной мощью
револьвер засулич или хинкли
отмеряющий возмездие миропорядку
такой же акт любви

(завтра он сам проговорится
шакалам из вашингтон пост)

взгляд цветка пронизывающий недра
триумф моментальной ветхой вещи
старички с их утлыми собачками
фтор фосфор но все-таки аргон
сапожный отпечаток бога
самородок надежды в пемзе



...Пишу тебе из общего давно,
в которое твое теперь, возможно,
уже не верит. Вспомни наш июль
совместный напоследок, как бузили
на Театральной, теребили телок
со стометровки, к Шурику таскали
кордебалет на льду. Ан у иных
внутри ослабло. Помню, залегли
в семейные траншеи. Помню, пили
с Ровенчуком — он прикатил из Праги,
он там спецкор — в ту ночь меня свезли
на месяц на просушку. Ровенчук
опять пропал, как не был. Навещали
лишь мать да Розка Резник — помнишь Розку
из горного? Мать прочила ее
тебе в невесты, ты уехал, я
женат на ней.

Я больше не пишу
стихов. Монблан провинциальной музыки
досрочно взят. Ее желтушный диск
отныне на ущербе. Иногда
я сортирую рукописи. Две-
три вырезки из выцветших журналов,
письмо: полувосторг-полутотказ
столичного литконсультанта. Розка
в отлучке где-нибудь — мы худо ладим
под гименеем. Помнишь, у тебя
(у нас, пожалуй) был такой прием
самооценки: если, перечтя
свои стихи по истеченье года
с момента авторства, находишь их
хотя бы сносными — затей другую
карьеру. Ты старательно держал
дистанцию между собою прежним
и нынешним. Масштабов абсолюта
достиг разрыв. От этих прошлых строк
впадаю в состояние экстаза

и угрызений. На излете льгот
крамольной воли бумеранг столетий
вернулся. Вот он, восемьдесят третий —
тридцать седьмой, Дантеса звездный год!

Не позволения приподнять завесу
моей взаимной тайны, не раздела
загробной репутации твоей
я требую. Из Андерсена мне
играть не надо. Я уполномочен
хоть тем же Шуриком крошечным, хоть
иудушкой Ляшенко и другими
нижеославленными — посягнуть
на ход событий повести, которым
здесь ложная окраска придана.
Меня послал свидетельствовать город,
где лопнул твой неутоленный гонор,
а стыд на лоно Розка приняла.
Я — регент оскудения, при коем
щербинам мора испещрить страну.
Я — прежний ты, твой изоним, привоем
приноровленный к мертвому стволу.
Пока пейзаж не переписан Летой,
я — гений всей посредственности этой.
Мети с оглядкой, новая метла.
Я был тобой. Не предавай меня.



пространство как море смеркается книзу
умом помыкают слова
но каждую в точности воблу и крысу
любовь соблюдает своя
в покоях где свет невысок от угара
нас в камень безвестнее вмять
и загодя всякую вещь отругала
своя справедливая мать
легенды вещей в геометрии схожи
сошьет себе крылышки скажем из кожи
какой-нибудь слесарь в лесу
и лес оставляет внизу

безвыходен сон как душевная поза
уловка в ночную страду
нам время устроили с целью гипноза
события видеть в строю
любой краевед лошадиное бремя
лису промышляет с седла
которую проще усвоить из брэма
а смерть наступает всегда
в дустволку очей изнутри фиолетов
субъект озирает течение предметов
нагнется тщеславясь к ведру
и прочь растворится вверху

на диво у нас биография птичья
мякину клевать подпевать из приличья
порхать и гнездиться везде
нутром в рукотворную темень взгляните
где остовом костным трепещет в зените
находчивый слесарь в венце



гитару напрягал ровесникам-ребятам
слюны пословицу вколачивал в припев
тщась память выгадать в потомстве и ревмя там
век вечеряющий в поту хрипел

все статую себе мерещил из металла
как у бульварного стояльца-рогача
речь скрипочка сверчка гомерова гитара
забыться князем славу рокоча

нет лучше как в саду меж бабами морскими
жить вдребезги что твой татарский гость садко
но бронхами ли хвор перенапряг мозги ли
всласть начато да вытянуть слабо

бобров затруханый за тщетною конторкой
зайдется чайником аж классикам беда
с кого-то спросится что жизнь была короткой
и для чего она вообще была

родиться набело в краю свинца и ситца
в древесных пальцах нить осенняя тонка
гитару в сторону давай друг другу сниться
а жить само сумеется тогда

изгнанник букваря твой сладкий ад женева
секунды шелестят как мятное драже
и памятник тебе из братского железа
в подземном силосе настороже



так я игоря вижу подзорно
позитива прозябшие зерна
пруд придумаю в снулой плотве
обуздать не владею вполне

ночь выносит его на подмости
как пучина с кембрийским песком
остальные друзья и подростки
точки мрака собой в телескоп
голенастое с томиком блока
только резкость наводится плохо
в окуляре зрачков недолет
видно гибели год недалек

лишь один до затмения верен
шепот ивы ночному пловцу
где моторки кильватерный веер
у причала колышет плотву
в двух словах городская громада
на большом колокольном ветру
чтобы дружба нежна и хромала
с поэтической строчкой во рту
раз бульварный фланер анатолий
за портвейном на метр побратим
скудный умысел нам обратил
на такое родство анатомий
принесущее уйму вреда

только игоря мне никогда



с полочки промешкать беда
завоз полусладкого выпит
июньская местность бедна
как в сутки исхода египет
досуг слабоумен и глух
зазноб созвонить если есть где
соседский валерка в подъезде
садится и какает вслух

наскучив любовью жены
ляшенко ночует на пляже
там в засуху лозы желты
и небо в неоновой пряже
в запое над звездной водой
под нежные визги гарема
порой глаукомы гомера
ему не хватает одной

за доступ в свой млечный чертог
и красного кубок отдельный
ляшенко взимает чехонь
с чинов подъяремных владений
наместник свиреп и смазлив
суэцкий песок по колени
и красное ордена лени-
на море с чехонью в разлив



сарафан на девке вышит
мужики сдают рубли
пушкин в ссылке пьет и пишет
все что чувствует внутри

из кухонного горнила
не заморское суфле
родионовна арина
щей несет ему в судке

вот слетает точно кречет
на добычу певчий бард
щи заведомые мечет
меж курчавых бакенбард

знает бдительная няня
пунш у пушкина в чести
причитает саня саня
стаканищем не части

век у пушкина с ариной
при закуске и еде
длится спор славян старинный
четверть выпить или две

девка чаю схлопотала
мужики пахать ушли
глупой девке сарафана
не сносить теперь увы

с этой девкой с пуншем в чаше
с бенкендорфом во вражде
пушкин будущее наше
наше все что есть вообще



когда вечерами в семейном кругу
восстав на полвека из бездны
я свет зажигаю и трубку курю
мне мысли мои неизвестны

в ночной духоте протоплазме на страх
железные рыщут приборы
а я в моей майке и чистых носках
напрасен устройству природы

метнешься к аптечке хватить порошка
наотмашь зубилом и дрелью
жена и собака твоя подошла
сестра по линнееву древу

когда я бумагу пятнаю рукой
как землю осадки сезонов
из умственных недр возникает другой
неведомый житель семенов

железо и смерть на парсек упредит
жена пожила и привыкла
так помнишь прилаживал речь фукидид
к налимьей гортани перикла



неповторимый быт коренных популяций
шелест в осоке кто-то крикнул выпью
и выпил это дед евгений из района
привез припоя и бидон солярки
крутить движок а то кино угомонилось
зато на замке амбразура сельпо
финита ля коммерция

в конторе моложавый рабочком володя
над письмом в газету правда жизни
пишет земля наша велика и обильна
а порядка в ней нет
володю не пронять культпросветгармонью
он ценитель мужской красоты
поборник уранизма

а в жилищах напролом разливают
работают колбы вюрца тикают бюретки
дед евгений кропотливо титрует
продукт освоен и отменно идет
под сельдь нарезную безоткатную
ломоть графита пирожки с вальсом
северный ледовитый огурец
густо посыпашь нонпарелью
аппетит приходит во время икры
в желудке шумят витаминные рощи
певчими рыльцами крыс
утыкан мрак



в ложбине станция куда сносить мешки
всей осени макет дрожит в жару твердеа
двоюродных кровей проклятия смешны
не дядя-де отнюдь тебе я

в промозглом тамбуре пристройся и доспи
на совесть выстроили вечности предбанник
что ж дядю видимо резон убрать с доски
пржевальский зубр ему племянник

ты царь живи один правительство ругай
ажурный дождь маршрут заштриховал окрестный
одна судьба сургут другая смерть тургай
в вермонте справим день воскресный

я знаю озеро лазурный глаз земли
нимроды на заре натягивают луки
но за полночь в траве прибрежные зверьки
снуют как небольшие люди

нет весь я не умру душа моя слегка
над трупом воспарит верни ее а ну-ка
из жил же и костей вермонтского зверька
првозгласит себе наука

се дяде гордому вся спесь его не впрок
нас убереут равно левкоем и гвоздикой
и будем мы олень и вепрь и ныне дикий
медведь и друг степей сурок



водки в достатке и мойва вкусна
хрустких известий бумага
данченко данченко житель куста
дух дымаря и тумана
был ты за водкой искусный седок
звезд нарицатель подальше
вздрогнем по триста и входим в село к
вечеру трое поддавши

лошадь корова колхозник в дохе
старческой грыжи нажива
в чайной проезжий недавней вдове
взял курабье и алжира
попусту время верстает шаги
так меж тавдой и варшавой
скиф сусломордый расслабив штаны
скифку манил на шершавый

даже живя по канону наук
белого на три куверта
что же наш третий голуба наум
весь из тумана и ветра
мы ли его не сажали к столу
в зареве зимней латуни
разве уж вовсе на эту страну
нет угомона в натуре
день посветил и костями отдаем
в хляби архивного моря
ангел с гармонью ночной водоем
звезд безымянная мойва



куранты в зените ковали века
река соблюдала блокаду
ходил на гитарные курсы в дэка
затем подучился вокалу
с трибун присягали твердили в трубу
напрячься и времени больше не бу

досуги и дни пропадают в дыму
куранты лютуют далече
в хрустальном пейзаже проело дыру
жуков перелетное вече
раздолье зенита реки ширина
проснешься и времени больше не на

нас в кадре росы ненароком свело
биенье немецкой пружинки
из туч левенгук наставляет стекло
на тщетные наши ужимки
в теснине проспекта удобно видна
оставшихся дней небольшая длина



из-на щемер словесной чаше
сетрине весклые борщи
не учиво наречим даще
вокще се бодло еропщи
озничь советлых древесомо
лесмень студмя единогов
наз полчести нек иврес домо
щебак и креп ену и кров
сен язвь от мыла до верлитра
открынме осече и ворт
блескря болотвена селитра
язырь суспелый недоверт
навзредь простравина слепа же-дь
сустрево вренему душес
бодвыль уверженная пажедь
мираж ли преждева ушед
стебло аж выщедмены жизлы
к северодрому пенье пар
(так нам секрет загробной жизни
над вещим блюдцем перепал)



так близок лес так сон перед рассветом
из мира птиц очами посвети
усердьем риз и крюковым распевом
ольховый бог устроен посреди

здесь летой лес сплавляют без убытка
в ботве улитка липкая слепа
правь бог травы твой кроткий век улыбка
когда нас всех уже смахнут с листка

так канет бук уже ростки ранимы
страх жизни вхож в зеленое нутро
так лес велик так робок бог рябины
он дым едва а больше бог никто

нам нежен дым но нет простоя страху
правь звездосплав от северной страды
пока в лесу весь род пернатый сразу
кладет на музыку его стволы



речь-игрушка чтобы все слова на а
мысленное назад к послушной норме
кация бдикация мортизатор
на скальных лопастях
известковые мазки деревушек
сушка табака в безлюдных улицах

все побережье чуть углубись
безлюдно бестелесно
в листе грецкие и другие орехи
эскапист с одноименного теплохода
куритель шипки и в перспективе автор
как ему холодно как рельефно
предметы которым тесно в именах

где же все мужественные жители
конские ездоки легенд
отчего не пируют под платанами
дерзнешь портвейна но внутри перегрето
желчная зелень прибора
камень заблеван желтым

взятое взаимы отдохнуть
возвращать практически некому
повсеместно эпос народного гения
необитаемый вулканический мираж
флору сплошь испещренную хурмой
изложет объектив любоведа

эта прощально щемящая ркадия
исчезновенный мир
за миг до своего рмагеддона

ЛЮБОВЬ РОВЕНЧУКА

У Логача, несмотря на весь ум, была странная черта. Ему казалось, что все женщины прицениваются к нему. Вернее, он считал, что они только о том и думают, у кого длиннее. Логач стремился в аскеты. Людей он не любил и терпел только по необходимости. Он презирал их за бездуховность.

Ровенчук понимал любовь по-другому. Свою знакомую Любу он уговорил в первый же вечер в парадной. У них завязался роман, он прямо задаривал ее цветами и шоколадом. Ровенчку, в отличие от Логача, женщины доверяли. В нем навсегда осталось что-то от милиционера. А к милиции у женщин доверия больше.

Раз уж речь зашла об этом, пора вспомнить и Мишу Фимушкина. Ему все хотелось рискнуть, но было не с кем. Он был плотный и розовый, а выпив, принимался без умолку петь. Других козырей он за собой не знал, и потому решил выучиться играть на гитаре. В этом ему ни от кого не было помощи. Тогда он сам составил кое-какие аккорды и стал петь очень громко, он надеялся заглушить собственный аккомпанемент. Такой прием подействовал, и Фимушкин вскоре женился на одной студентке агротехникума. В девичестве она носила белые брюки, но после свадьбы отдала их незамужней сестре. Тогда же умолкла и гитара Фимушкина.

Бармен Руслан работал в кафе «Зарница». Когда построили «Кутаиси», он тотчас перебрался туда. У него была на содержании Инга, он увел ее у Майского. Майский встретил эту особу на трамвайной остановке. В ту пору она только что приехала из дальних северных мест, но ничего при себе у нее не было, кроме собственной фотографии в голом виде. Когда Руслана взяли за анашу, Майский с Ингой расписались.

Вера, по прозвищу «Перепелочка», была одно время подругой Сухобока и даже родила от него девочку. Потом Сухобок женился на Наташке, и Вера решила влюбиться в Леву Евсюкова. Но она плохо рассчитала и влюбилась так сильно, что даже пробовала отравиться бертолетовой солью.

Когда из этого ничего не вышло, она переменяла тактику и стала, в подтверждение чувств, давать Евсюкову публично, при большом стечении знакомых. Впоследствии все утряслось, и теперь она замужем за полковником.

Ровенчук гулял со своей Любой полтора года. Потом она закончила педагогический и уехала в район преподавать чистописание. Настоящую жену Ровенчука никто в городе не видел. Жену Логача знали только по имени.

Однажды в июле Цветков выбрался в Заречье. В редакции незнакомые люди сказали, что Ровенчук внезапно рассчитался и отбыл неизвестно куда. Логача уже полгода как не было в живых. Во дворе редакции суетились некрасивые куры в зеленке.

С Цветковым тоже была история в таком роде. Он годами приударял за одной знакомой по имени Агнесса. Тем временем она вышла замуж за ядерного физика, но у того выявилась сложная болезнь суставов с детальным прогнозом. Агнесса заблаговременно с ним развелась и пошла работать в областную газету. Там ее сильно невзлюбила диссидентка Малышева. По ее доносу Агнессу накрыли в лаборатории с фотокором в момент адюльтера. Тогда она ушла по собственному желанию и взялась за воспитание ребенка.



кто в горелки атлет или в шашки
кто в буру отдохнуть до утра
но любовь к утолению жажды
затмевает рефлексы ума
итээр комсомолу в усладу
кавээн коротает в семье
мы зашли в кутаиси к руслану
коньяку предложили себе

эти дымные в рылах собранья
в несусветную веру врата
там сторонник один рисованья
и учился другой на врача
мы руслану челом как полпреду
на словах доказать правоту
а ему закатили торпеду
за чрезмерную сухость во рту

и пока я слабею и кисну
алкоголь в своих бедах вина
этот август бестрепетной рысью
меж стволов настигает меня
лица в кольцах табачного воска
вот подседа сподвижница розка
незаметная блузка легка
из-под мини соблазны лобка

пой-чаруй меня брачная роза
коньяку министерская доза
десять лет или больше тому
где я в зеркале бледном тону



пора от людей отличаться
наехало с ксивой родни
в печати бежать отмечаться
что нет не такой как они
что прибыло дней по коренья
и с косами пору проспят
когда по полям поколенья
отпразднуют полураспад

коль в кроткие нравом уроды
продвинуть наука могла
простым уроженцем утробы
меня полагает молва
хитер да извилины плохи
двуногий скачу об одной
и вскоре говядину плоти
верну подписав обходной

ан мрак проницадя картонный
где утлый всему эталон
я видимо вечный который
не помнит что я это он
мерещится в дырах дорога
и спичка слепит до зари
когда из гремучего лога
на свет поползут косари

известен и я о вольтере
о сахарной норме в крови
но дошлый читатель в партере
улыбку во рту не криви
он медлит для пущего понта
пиджачная в сперме пола
как будто не розданы польта
и на хуй ему не пора



бузит в руинах рима
народная братва
пищальные отряды
бирляют на холме
в консервной банке рыба
печальная мертва
портвейна как отравы
ебальники в халве

ударно поработав
закусишь от души
сенатскими кормили
на форуме собак
начдивы остроготов
считают барыши
глядишь эдикт о мире
расклеят на столбах

присядешь над газетой
латинского письма
на ней халва сардины
всем нолито уже
в шатре перед мазепой
трофейная пизда
в виссоне как с картины
в пурпурном неглиже

легко и одноактно
история прошла
теперь лети как рыба
по тибру на спине
пищальник одоакра
бедовая башка
и я поборник рима
в пурпурной простыне



так и ко мне некоторые питали слабость
фреонщица с пельменносборочного
часто заходила в редакцию знакомиться

голо мне было в то отроческое время
ночлег стелил летописными подшивками
громоздил в изголовье подписного гоголя
пестовал иллюзию незадолго прослыть
но все-таки эта дуся интриговала
ее вечерние приходы с кефиром и булкой
завотделом еврей наутро отпирая
различно именовал буся или дася

или варя из омутинской командировки
чьи несметные надои я льстиво воспел
ее фамилию мюллер предал огласке
устроивал с этой особой ночные заплывы
и птицва соловебрь стенала в бору
я юноша им вис как фрукт на ветке
и тощенькой одной в эсэсовских сапожищах
из многотиражки полярный авиатор
а вместо сердца пламенный морковь

одна может быть умерла куда-то замуж
вторую общественность двинула в депутаты
и все ходит с кефиром надеется третья
о опои меня своим фреоном назад



ощенил бы иную да шкворень дает слабину
не вибрировать стать апоплектику всласть отобедав
это с логача спрос он мне мозги лечил в старину
что ж свои не стерег раз на голову нет ортопедов

на износ я не скор соразмерную шкуру блюда
благо в печени этне пресек эскулап возгореться
вот половой к зиме натолкаю амбар по мудя
на желудочный зонд соберу ниварей разговеться

хоть шукшин опиши наш прыщевник жующий соглас-
но и охабень в персть там в америке смерть далеко ты
правда в рифму щемил скорбноглавых ввергая в соблазн
но марьяж удружил от такой маеты да икоты

у людей кто в галут кто в герат весь помет передох
не за гусельный пев заголяли менады орфея
окотил бы кого в клеверах только йок передок
весь местком холостил знай диспетчерствуешь татарвея

было детство из жил убежать заплетали пейзаж
женский вред наголо голливудской лапши с героином
паче фотку спворь из комода при розке нельзя ж
и соплями в сортире давись и дивись георгинам



и. п. павлов хоть выпить слабак
был известный любитель собак
чуть завидит проделает дырку
ток пропустит подставит пробирку
жаль профессор реакции фрейд
причинил ему видимый вред

раз надумал и. п. алкоголя
достоверно исследовать вкус
но не чтоб как неопытный коля
в лужниках отрубиться под куст
перед зеркалом собственноручно
выпивал совершенно научно
и в уме заприметив дефект
приблизительно понял эффект

если б сумму значительных денег
отслюнил мне стокгольмский синклит
было б ясно зачем академик
перед зеркалом в зюсю сидит
сам я больше в пивных не бушую
от вина не встаю на дыбы
и собаку держу небольшую
не сверля в ней особой дыры
я в научный не верю прогресс
даже к фрейду исчез интерес



чем выйти возразить рослой лозе изюма
вольный перечень животных солнце дневного света
человеку настает его жаркое лето жизнь
переходящее знамя всей федеративной погоды
дар выдр одр дур бодр

вот трава имени товарища тимофеева
хлипкая но с мандатом выйти в колос
над которой все облака доброй воли
пронзает коленвалом молнии
подари своим немногим сверху
светлая государыня птица

и я дитя больной но понимаю
невелика тень и умирать напрасно
предметы коленопреклонения зелень и зной
пора в гербарий мое маленькое тело
добрый вечен говорит луг
спокойного всегда

милые божьи коровки и лошадки
резвые лугом адамовичи впереди их отчий
адам
идем домой
эдем

СЦЕНАРНЫЙ ВАРИАНТ

Организация Данченко называлась «Чрезвычайное бюро по ликвидации правящей клики». Это бюро помещалось исключительно в уме самого Данченко. Но в комитете скоро обо всем проведали. Кому-то из персонажей был намек от одного доверительного Валерия Михайловича, в ходе беседы в особом номере гостиницы «Южная». Данченко был предупрежден.

У Заславского в ту пору были свои неприятности. Его отец работал меховщиком. Поэтому, а также за национальную принадлежность, его собирались пустить показательным процессом в кругу товарищей и сослуживцев. Наума вызывали на официальные разговоры. Из кукольного театра пришлось временно уйти — все-таки это было звено культуры. Заславский перебивался массовиком в парке.

Однажды Данченко встретил Цветкова на Проспекте и отвел к Сухобокам. Сначала пили портвейн, потом фиксатив для закрепления различных сепий и пастелей. Данченко храбрился и под восторженным взглядом хозяйки читал ниспровергательные стихи. Через неделю, когда Цветков уже отбыл по месту обучения, Данченко взяли.

Затем настала очередь Фимушкина. Фимушкин к тому времени хорошо обосновался в редакции. Он перестал выдавать себя за еврея и ожидал рождения сына Аскольда. В дни, когда нагрянуло беспокойство, у Фимушкина открылся порок сердца. Он не мог взять в толк, откуда на него дело, и лечился мелипрамином в областном сумасшедшем доме.

Вскоре Данченко выпустили. Он по-прежнему пропадал вечерами в «Кутаиси» или у театра, но отмалчивался, когда речь заходила о неприятном. Он завел себе кожаную куртку с молниями и курил анашу в компании рано созревших сверстниц. В эти дни он как бы сам повзрослел на годы, с ним больше не о чем было говорить.

Наташка Сухобок ушла от мужа и стала жить у родителей. В ночь эпизода с канализационным колодцем Данченко вызвал ее во двор условным свистом. Он был с одной из своих девочек, какой-то Ларисой. Пока они втроем пили

в беседе, Данченко все улыбался и говорил, что они с Ларисой уезжают. Между тем у него в кармане уже лежало шесть пачек нембутала.

Что касается пасхального случая с Наташкой, вся эта история остается на совести третьих лиц. Когда Цветков приезжал на каникулы, они с Заславским навестили Наташку и пили за полночь в злополучной беседе. О посмертном визите Данченко она не обмолвилась ни словом.

Некоторые детали прояснил Ровенчук, он был в контакте с самыми неожиданными сферами. Когда Данченко доставили в комитет, он сильно испугался и заложил всех поголовно, хотя никто не мог быть причастен к организации, существовавшей лишь в его воображении. В конце концов, Данченко было всего семнадцать лет.

В результате областная газета опубликовала фельетон. Это произошло еще в пору здешней жизни Данченко. В фельетоне была вкратце изложена история морального распада Данченко, но основной удар был прибережен для Фимушкина и в особенности для Цветкова. Было высказано предположение, что всему виной безыдейная и пессимистическая поэзия Цветкова, что она необратимо растлевает некоторые юные души. В доказательство приводились строки из поэмы «Красное смещение», экземпляр которой автор подарил Ляшенко по его настоятельной просьбе. Фельетон был подписан Котовым и Литовченко — таких никто в городе не знал, но были известны возможные прототипы.

Если принять все изложенные факты, в том числе факт воскресения, получаем интересный христологический парадокс. Данченко — несомненный, хотя и незадачливый, предатель — принял в конечном счете мученическую смерть и на третий день воскрес. Обещанное письмо из Азии намекает даже на некоторое новое пришествие.

Цветков же, возведенный фельетоном в ранг учителя истины, не только не понес немедленного наказания, но даже долгое время оставался в неведении относительно своей невольной роли в этих трагических и странных событиях.

В итоге перед нами удивительный вариант евангелия. Заблудший апостол предает учителя и принимает, как положено, казнь от собственной руки. Учитель, находясь в отдаленном месте, избегает крестной муки, поэтому предопределенное воскресение минует прямого адресата и выпадает на долю раскаявшегося изменника. Если Бог суще-

ствуем, а существует практически все, нельзя не подивиться резкости, с которой он правит уже заверенный текст. Можно, конечно, допустить существование особого сценарного варианта — его, применительно к обстоятельствам, правит кто-то другой. Для простоты назовем его Иалдаваофом.

Возможно, в происшедшем был какой-нибудь тайный смысл, но он ускользнул от исполнителей и техперсонала. Жизнь, как известно, есть зеркало перед лицом литературы, но в ней меньше логики и соответствий.

Остается завершить побочные сюжетные ходы. Фимушкин быстро восстановил свою пошатнувшуюся репутацию и вернулся со справкой об устойчивой ремиссии. С Заславским тоже обошлось, он по-прежнему правит своим кукольным миром. Сухобок сошелся с одной прикладной художницей по лаковым шкатулкам, и лишь прежняя его жена все еще проповедует в одиночку свое евангелие от нембутала.

ОПЫТ ОНТОЛОГИИ И КОСМОГРАФИИ

Когда Фимушкин женился и обосновался в редакции, он все реже урывал время на кружку пива с Водопьяновым. Выпив, он впадал в метафизику. Он сильно боялся смерти и все искал доказательств, что ее нет.

Если Бог есть, рассуждал Фимушкин, то есть и бессмертие. Предположим все же, что Бог есть, а бессмертия нет. Такое допущение нелепо: Бог не может забыть однажды Им придуманное. Придуманное Богом по определению воплощено, ибо совершенство предполагает единство замысла и воплощения. У Бога нет отвергнутых вариантов. Фимушкин, таким образом, есть необходимая идея в сознании Бога и вынужден существовать вечно.

Предположим теперь, что Бога нет. В этом случае вся надежда на науку. Когда-нибудь люди разовьют ее до такого совершенства, что ей не будет никаких преград. Люди, фактически, сделаются Богом. Тогда вступит в силу аргумент, приведенный выше. Существование Фимушкина из случайности превратится в необходимость.

Можно допустить, что люди все же не разовьют науку как следует. Они могут даже уничтожить друг друга термоядерным оружием. Но это не беда, ведь несотворенная вселенная неуничтожима. Число шансов бесконечно. Рано или поздно наука восторжествует, и Фимушкин будет ею увековечен.

Теория была как будто стройная и неуязвимая. Вот только Фимушкин не оставил в ней места для Иалдаваофа с его режиссерскими ремарками. Возможность Иалдаваофа не была предусмотрена высшим образованием Фимушкина.

У Заславского тоже была своя игра с мироустройством. Он написал пьесу для кукольного театра, которую не имел надежды поставить из-за ее идеологической двусмысленности. За бутылкой он принимался пересказывать сюжет. Куклам надоело дергаться на палочках (это были тростевые куклы), и они решили жить по своему усмотрению. Для этого постановили выкрасть у режиссера его экземпляр пьесы. Тогда, рассуждали они, режиссер не будет знать, что ему с ними делать, и оставит их в покое.

В конце концов одному отчаянному петрушке это удастся. Пьесу уговорено сжечь, но перед этим куклы решают в нее заглянуть. Оказывается, это пьеса как раз о таком заговоре кукол.

Рассуждая о сюжетах, нельзя не коснуться вот какой темы. Из чтения собранных здесь фрагментов и некоторых стихотворений легко заключить, что все они написаны Цветковым, одним из действующих лиц. Автор пытается создать впечатление, что сам он впоследствии покинул место действия и уехал в Америку.

Между тем достоверно известно, что Город исчерпывает и замыкает в себе все обитаемое пространство. Персонажи движутся по замкнутым фиксированным орбитам и циклически друг с другом взаимодействуют в согласии с нравственными и гражданскими уложениями. Такие понятия, как «отъезд», «Америка» и т. д., представляют собой любопытные, но далеко не безобидные формы эскапизма. В конечном счете все это символы, если не синонимы, саморазрушения. Излишне напоминать, в какую «Америку» отправился Данченко.

Истины ради следует пояснить, что в действительности Цветков благополучно прописан в черте Города на площади родителей. Его супруга Розалия, в девичестве Резник, приходится двоюродной сестрой неоднократно упомянутому Н. Заславскому, и ее беременность протекает благополучно. По выходе из наркологической клиники Цветков почти начисто избавился от симптомов навязчивого бреда, слишком естественных в его состоянии. Его душевное здоровье теперь вне опасности, в связи с чем он восстановлен в должности диспетчера стекольного завода. Любопытно, что сам он начисто отрицает приписываемое ему авторство.



The ore of time is scarcer in its bed.
Death comes without inflicting any harm.
Down to the car the helpmate is slowly led.
The loved one is dressed up like an attaché.
His neighbors flock together arm in arm
to celebrate, to drink his life away.

The loved one lived — he is not any more,
dispatched with music from the party floor.
And everyone drinks with a silent resolution,
convinced that here no age is better or worse,
as if life were a kind of institution
where waiting lists are followed in reverse.

The accordion sings. Wine flows both white and red.
Yet meanwhile everyone is as good as dead,
toasting their friend away, as yet uncertain
of their similar fortune. Up and fly
among the stars. Life always has a curtain,
and it is death. One cannot but comply.

Take the accordion and sing a song
of life that is so warm and vast, and long;
of a woman you have yielded to a friend;
of dusty mallows at the homeward bend;
of how after those years of toil and sweat
death comes. And that is nothing to regret.

MIRABILE DICTU

ЖАЛОБЫ ЧАСОВЩИКА

1

ветлы волглые в усмерках сизы
комарей шилоротый отряд
в лебеде ништяки звездогрызы
силикатную озубь острят
кычет в сучьях пернатая дура
роет воду ершей агентура
шумен жукр норовящий в ночи
на предмет пропитанья и крова
все валдайское наше до рева
хочь в америку струги точи

в самой таволге дремной хитро бы
буровая известна дыра
тружаки подземель углеробы
темень тьмущую жмут на-гора
отдоившись как есть на пригорок
в казакине взлетишь negliже
мировой несгораемый морок
под стожары сягает уже
утро по ветру рылом к кордону
враз порты подобрал для пардону
конь ли блед с седоком на борту
тихо тикает время во рту

2

врозь прозябанье у трав и дерев
некому жизнь прошептать умерев
бездна березы бахчи иван-чая
с ботанизиркой на зорьке в поля
кануть растением не отвечая
деревом впредь никому не боля

прежде в предсердии скудной страны
суп мастерили из стеблей травы
дрогнешь гектар за сохой отхромавши
в ложке глаза плотвяные глупы
браво солдатская дружба на марше
песню светила до самой луны

бритвенник времени крепкий гробовник
леший силен с кистенем уголовник
серпень так слепень лосиный закон
вымрешь из области ждать произвола
марш нам из вагнера грянь радиоло
сидни да блудни в овсах испокон

было из наших в поту ежевик
редкий начпред выходил стержневик
зря что за фауной меньше ухода
прорва в траве пескаря и удода
по ветру трактором хоть свет обогни
дымной рябины горят головни

3

быть горю вред как голому луна
так чтожеству в женитвах отучиться
что аж бы жизнь не стоила ума
почувствовать и тотчас очутиться
не веществея
быть полувообще
тень актеона в существе оленьем
или ядро актиния расще-
непоправимым
пленное явленьем

быватели поступков и пространств
мгновенные сотвердия желаний
чтобы устроить тщетному контраст
как неудобству жабы бок жирафий

кто утлый зад вздымает из седла
чья с костных башен мысль гудит мордато
легко белея в будущем когда-то
до новых встреч родные навсегда

4

в бегах от ябед и сутяг
в палм-бич на старческом покое
болит на чем кому сидят
лицо такое
или по скудости в ки-уэст
где ньюджерсийских житель мест
снимает росчерком батиста
слезинку с дамского бедра
одно романтику беда
пизда костиста

так русский удручен изгой
ушелец флагов и оружий
когда над рачьей мелюзгой
себе он ротмистр и хорунжий
под репу тренирует грунт
и резко делает во фронт

мужайся пастырь мнимых рыб
герой старинного пасьянса
четвертый наблюдая рим
где бедра дивные лоснятся
и где заезжее лицо
любимец многих демонстраций
о камни бедное цело
и даровито как горацій
но в лоб ему что командорский гость
крестцовая уже стучится кость

5

вот дедушка сторонник мидий
поживу рыщет из песка
ему как стронцию рубидий
морская фауна близка
годами он господствует над пляжем
куда и мы как трилобиты ляжем

но впредь как минусу соваться на весы
чем гостье в пасть как эскарго на вилке
я жив я тоже гражданин весны
земную жизнь пройдя до половинки
и дальше в лес
а дед в пределе узком
свой геноцид ведет моллюскам

мать мидия мы свидимся в раю
прощай в зобу его свирепом
я мал мне тоже жаль идти в рагу
и умереть и быть скелетом
бог вещества я существую лес
любую сойку в нем и росомаху
им не бывать покуда я исчез
как эта устрица к салату
глядящая печально изо рта
как в радамантовы врата

6

не ветер колдует калека
не в око звезды недолет
судьба одного имьярека
покоя мне спать не дает
мы смежными были мирами
совместный знавали успех
и нежные джунгли герани
в окне пламенели у всех
нас речь поименно хранила
над бережной бездной держа

но врозь повернула планида
и срок наступил дележа

кто божьей назначен коровкой
на тучные стебли ползти
в америке этой короткой
побыть напоследок прости
устроена детству беседка
и времени ноша легка
в хитиновом сердце инсекта
где анкер стрекочет пока
чтоб с гулками вровень горами
нас вынесла к пойме вода
и ветви вечерней герани
сомкнутся над нами тогда

7

приходится что поступаю зря
что без толку внутри организован
и в постепенном приступе тщедушья
то щучью воду нежно именую
то мышшь деньгами выдать попрошу

я карамзин эпохи кайнозоя
мне совести известен рудимент
две добрых феи свинка и ветрянка
вертели веретенышко надзора
наотмашь мышшь и ласточку-певунью
в паштет определили в октябре

и вот я вновь устроен к вам в ужовник
отпущенник твердынь императива
в вирджинии где бенжамен констан
предусмотрел нам дерево свиданий
там тикает предательская птица
с храповиком в рубиновом очке

но ласточка из ссылки возвратится
как ленин в ежедневном пиджачке



пристален лист лозы и вяза
облачный вечен флот
так и живешь внизу следя за
круговоротом вод
в ельнике белки бег заведом
весь позвоночный жанр
археозойских вод заветом
полон по щели жабр

темени в небе швы уместны
в деготной мгме телег
чей невесть кто на всех из бездны
мирных чуратель нег
в травнике день знобит короче
светоч удельных роц
или какой-нибо нароче
здобый пещрится хвоц

не прогудит ни мысль ни птица
токарь уймет фрезу
едем в воде по локти лица
дно под собой внизу
речь на воде очей как фото-
вспышки внезапен бой
бережно звездные своды грота
думаем над собой

в мрамор мертвы тапир и нерпа
времени бронзов лист
вдруг человетвь висит из ветра
ворохом честных лиц
впору ли кровле зодчим спетой
стены его в снегу
и занебыть всей тенью этой
из-под воды к нему



невозможно теперь очутиться
в стороне где ребенком подрост
и зевесова умная птица
диссиденту врачует цирроз
а уж май нажимает волшебник
то вообще получает лапшевник

жить да по свету рысью сердито
прочь от варежек их от ворон
где со срубов не сходит селитра
и не молкнет мужской моцион
преуспеть в картузе и тужурке
сам буржуй и женат на буржуйке

свозят опрометь хану в хоромы
раз от мысли все мышцы сильны
в клеверах мужики-жукоборы
на жида выставляют силки
всенародный над ними борщевник
дверь не скрипнет не вспыхнет вообще в них

вместо в харькове или одессе
в час науки и муз торжества
хорошо оказаться в отъезде
чтоб не сделал привод старшина



в блеклом зеркале боли
в гуле пустеющих комнат
то ли движется то ли
остановиться не помнит

из-под невода пыли
слабый колеблется случай
или маятник или
вкрадчивый топот паучий

с повивальной перины
спица из воздуха спета
на короткий периметр
тенью теснимого света

уйма времени снится
прежде чем в зеркале мнимом
отражению слиться
с деревом камнем и дымом

то ли мельница то ли
в суп обреченная птица
образ выбора доли
где умереть пригодится

на периметре звука
воздух простреленный низок
городская разлука
времени мыльный огрызок

СОДЕРЖАНИЕ

СБОРНИК ПЬЕС ДЛЯ ЖИЗНИ СОЛО (1978)

«Гарь полуночная, спеленутая тишь...»	7
«С перрона сгребают взлохмаченный лед...»	8
«Бредит небо над голым полем...»	9
«Природа слов тепла не лишена...»	10
Звездная баллада	11
Медленная баллада	13
Генеалогическая баллада	15
«Дремал на крышах облачный колосс...»	17
«Выйди с вечера к ручью...»	18
«Несло осенними пожарами...»	19
«Снова грозы возводят с ревом...»	20
«Серый коршун планировал к лесу...»	21
«Входит ветер, года отмечая...»	22
«И вновь, через годы, без боли и гнева...»	23
«Разлуки истовые свечи...»	24
«Опять в фаворе транспорт водный...»	25
«Руки вымыты, морды гладки...»	26
«Здравствуй, ветер, сентябрьский повеса...»	27
«На лавочке у парковой опушки...»	28
«На пригород падает ласковый сон...»	29
«Что касается любви — малярня мне знакома...»	30
«Эти женщины в окне...»	31
«Как небо над заводью, сердце, замри...»	32
Цирк	33
Царевич	34
Невский триптих	36
«Подходит лето. Шаг его негромок...»	39
«У лавки табачной и винной...»	40
«Надвигается вечер, стахановец в темном забое...»	41
«Я хотел бы писать на латыни...»	42
«Опять суетливый Коперник...»	43
«Каждый знак земли подо мной...»	44
«В мокрых сумерках осенних...»	45
«В горький снег окуну рукавицы...»	46
«Тихий звон в мановение мига...»	47
«Рассудок — это слишком резко...»	48
«Третий день человек растерян...»	49

«Горящий контакт разомкнулся в груди...»	50
«Внедряя в обиход ночную смену суток...»	51
«Когда сжворцов опасливая стая...»	52
«К чертям контрапункты — трагедия ищет азоз...»	53
«Ни лица, ни голоса больше...»	54
«Полыньями в алую кайму...»	55
Каменная баллада	56
«Курносая тень принимает швартовы...»	58
«Полуживу — полуиграю...»	59
«Судьба играет человеком...»	60
Прощание Гектора с Андромахой	61
Плач Андромахи	63
«В стороне, что веками богата...»	64
«Лучше за три сибирские Леты...»	65
«Жил на свете мальчик детский...»	66
«Все будет иначе гораздо...»	67
448-22-82	68
«Зачем же ласточки старались...»	70
«Ах, отчего не может сбыться...»	71
«Сотрутса детали рисунка...»	73
«Пой, соломинка в челюсти грабель...»	74
«Как бы славно перестать...»	75
«И рождаться, и жить позабудем...»	76
«До хрипоты, по самый сумрак...»	77
«Стеклянный воздух, месяц медный...»	78
«Под заботливой кожей сгущалась продольная хорда...»	79
«Понимаешь, дело не в режиме...»	80
Сердце по кругу	81
«Я — “фита” в латинском наборе...»	86
«Нас поднял зов свирели медной...»	87
«В земле чужой и непохожей...»	88
«Когда мой краткий век накроют волны, пенясь...»	89
«Из пустыни за красной каемкой...»	90
«Судьба мне сулила тресковый кисель...»	91
«Полжизни положено вместе...»	92
«Глиня многолетнего замеса...»	93
«Надо выскоблить пол добела...»	94
«Над нами ночь. Места ее гористы...»	95
«За кладбищем земля бугриста...»	96
«Ситуация А. Человек возвратился с попойки...»	97
«Не судите меня, торопливые мальчики детства...»	98
«Отсюда солон или сух...»	99
«На четверых нетронутое мыло...»	100
«На земле пустая лебеда...»	101
«Речь перевернута. Щупаю дно головой...»	102

«В трибунале топор не пылится...»	103
«В короткую ночь перелетной порой...»	104
«Отсюда в май прокладывают кабель...»	105
«Грозный Курбскому — бандероль...»	106
«В похвальбу, из пустого геройства...»	107
«Ровесницы выходят за болгар...»	108
«Небо с немочью зубною...»	109
«Весь в сазаньих плавниках...»	110
«Мы к осени пить перестанем...»	111
«Земли доверчивая гряда...»	112
«Поставили гром на колеса...»	113
«Как солнце в облаке тяжелом...»	114
«Трехцветную память, как варежку, свяжем...»	115
«Оскудевает времени руда...»	116
На смерть В. Набокова	117
«Я выспался, но света не зажег...»	118
«зачем живешь когда не страшно...»	119
«человек выходит в поле...»	120
«В тот год была неделя без среды...»	121
«Я помню летний лес, заката медный створ...»	122
«третий день сидим и едем...»	123
«спасибо сказавшему слово...»	124
«Нелегкое дело писательский труд...»	125
«Меня любила врач-нарколог...»	126
«За рубежом, в одном подвале...»	127
«Когда состарятся слова...»	128
«Я мечтал подружиться с совой, но, увы...»	129
«Сколько лет я дышал взаймы...»	130

СОСТОЯНИЕ СНА (1980)

«румяным ребенком уснешь в сентябре...»	133
«я порядка вещей не меняю...»	134
«две недели без перемен...»	135
«отверни гидрант и вода тверда...»	136
«от самого райского штата...»	137
«как в застолье стаканы вина...»	138
«когда споет на берегу...»	139
«вид медузы неприличен...»	140
«в этот год передышки от кутежей и охот...»	141
«еще я память пробую слегка...»	142
«воспоминаьем о погромах...»	143
«в этом риме я не был катонном...»	144
«не притязая на глубину ума...»	145

«когда позволяет погода...»	146
«невесомости местный повеса...»	147
«снится мне волги привычный седан...»	148
«рано утром над рекой...»	149
«беззвучный рот плерома разезает...»	151
«писатель где-нибудь в литве...»	152
«в итоге игоревой сечи...»	153
«что за несвойственные в голову...»	154
«в тесноте нефтеносной системы...»	155
«пока страна под меринном худым...»	156
«уже и год и город под вопросом...»	157
«какие случаи напрасные везде...»	159
«пока переживать созданию не больно...»	160
«как я выгляжу серьезно...»	161
«зачем луны румяный овощ...»	162
«над нами глумились тираны...»	163
«ничего не жалею теперь я...»	164
«невидимую жизнь морскую...»	165
«под каждым годовым деленьем...»	166
«я убит стремительным гранатом...»	167
«за ваши прелести толпа...»	168
«в ту пору река мне была велика...»	169
«под родительский кров возвращаются сны прямиком...»	170
«под светооборонными очками...»	171
«присуждают иксу кандидатскую степень...»	172
«предмет наблюдения природа...»	173
«на пыльных равнинах невады...»	174
«беотия иония...»	175
«судьба была сметана...»	176
«когда любовь слетается в орду...»	177
«отмерена жизнь славянину...»	178
«на шоссе убит опоссум...»	179
«мой сосед семен никитин...»	180
«парафиновый пар у рта...»	181
«когда летишь через атлантику...»	182
«апостолам истории...»	183
«госсекретарь в миру сенатор маски...»	184
«декабрьское хмурится в тучах число...»	185
Состояние сна (поэма)	186

ЭДЕМ

«подросшее рябью морщин убирая лицо...»	193
«Четыре взрослых человека у обочины дороги...»	194

«мы стихи возвели через силу...»	195
«круче плечи темя плоче...»	196
«народ не верит в истину вообще...»	197
«заглянем в решенье ландшафта...»	198
«натянешь на старости дней...»	199
Город, город	200
«система редких приполярных городов...»	202
«сколько мне лет спрашивал старших...»	203
«подшивали анамнез в альбомы...»	204
«помню пепельное утро...»	205
«в отрочестве тянуло взглянуть на покойника...»	206
«голодный глоток нембутала...»	207
«в парке дубовая роща...»	208
Шурик и Римма	209
«быть учителем химии где-то в ялutorовске...»	211
«облиздат выпустил своевременную книгу...»	212
«переломы срастаются мигом...»	213
«еще всюю живешь и куришь...»	214
«рабочий комплект солнечная система...»	215
«квадратный двор бидон хирсы на вынос...»	216
«воздух в паутине перегара...»	217
«в ноябрьский озноб с козырька мавзолея...»	218
«в полдневную темень на страшном ветру...»	219
«в старости блуждать и не бояться...»	221
«о загадочной мата-хари или нефертити...»	222
«от крайней северной до восточной оконечности...»	223
«местная осень по остов объест...»	224
«готической ночи постройка...»	225
«минеральные толщи и слои существ...»	226
«ученик озноба и недоумения...»	227
«признание в любви некрасивой девушке...»	228
«...Пишу тебе из общего давно...»	229
«странство как море смеркается книзу...»	231
«гитару напрягал ровесникам-ребятам...»	232
«так я игора вижу подозрно...»	233
«с получки промешкать беда...»	234
«сарафан на девке вышит...»	235
«когда вечерами в семейном кругу...»	236
«неповторимый быт коренных популяций...»	237
«в ложбине станция куда сносить мешки...»	238
«водки в достатке и мойва вкусна...»	239
«куранты в зените ковали века...»	240
«из-на щемер словесной чаще...»	241
«так близок лес так сон перед рассветом...»	242
«речь-игрушка чтобы все слова на а...»	243

Любовь Ровенчука	244
«кто в горелки атлет или в шашки...»	246
«пора от людей отличаться...»	247
«бузит в руинах рима...»	248
«так и ко мне некоторые питали слабость...»	249
«оценил бы иную да шкворень дает слабину...»	250
«и. п. павлов хоть выпить слабак...»	251
«чем выйти возразить рослой лозе изюма...»	252
Сценарный вариант	253
Опыт онтологии и космографии	256
«The ore of time is scarcer in its bed...»	258

MIRABILE DICTU

Жалобы часовщика	261
«пристален лист лозы и вяза...»	266
«невозможно теперь очутиться...»	267
«в блеклом зеркале боли...»	268

В поэтической серии «Автограф» изданы:

- Б. Ахмадулина. Ларец и ключ
- В. Салимон. Невеселое солнце
- И. Лиснянская. После всего
- Ю. Кублановский. Памяти Петрограда
- И. Бродский. В окрестностях Атлантиды
- Н. Кононов. Лепет
- А. Пурин. Евразия и другие стихотворения
- Е. Шварц. Песня птицы на дне морском
- С. Гандлевский. Праздник
- В. Гандельсман. Там на Неве дом...
- В. Дроздов. Стихотворения
- Л. Лосев. Новые сведения о Карле и Кларе
- А. Цветков. Стихотворения
- Д. Новиков. Караоке
- И. Жданов. Фоторобот запретного мира
- Т. Кибиров. Парафразис
- Е. Шварц. Западно-восточный ветер
- Б. Ахмадулина. Созерцание стеклянного шарика
- В. Салимон. Красная Москва
- В. Зельченко. Войско
- Б. Кенжеев. Сочинитель звезд
- А. Битов. В четверг после дождя
- Л. Лосев. Послесловие
- И. Лиснянская. Ветер покоя
- В. Гандельсман. Долгота дня
- Е. Шварц. Соло на раскаленной трубе
- Т. Кибиров. Интимная лирика
- В. Павлова. Второй язык
- В. Кривулин. Купание в иордани
- М. Ерёмин. Стихотворения
- С. Кекова. Короткие письма
- Б. Ахмадулина. Возле ёлки
- Д. Новиков. Самопал
- Т. Кибиров. Нотации
- В. Соснора. Куда пошел? И где окно?
- С. Гандлевский. Конспект
- Б. Рыжий. И всё такое...
- П. Барскова. Эвридей и Орфика
- И. Лиснянская. Музыка и берег
- Л. Лосев. Sisyphus redux

- В. Дроздов. Обратная перспектива
- Т. Кибиров. Amour, exil...
- В. Соснора. Флейта и прозаизмы
- В. Гандельсман. Тихое пальто
- В. Павлова. Линия отрыва
- В. Коваль. Участок с Полифемом
- Е. Шварц. Дикопись последнего времени
- Б. Ахмадулина. Пуговица в китайской чашке
- А. Поляков. Орфографический минимум
- Б. Рыжий. На холодном ветру
- В. Соснора. Двери закрываются

Все книги серии тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных книг
обращайтесь в издательство по адресу:
191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».
Информация по телефону: (812) 273-37-24, факс: (812) 273-52-56

В серии книг «Зеркало» вышли следующие тома:

- **В. Яновский.** Поля Елисейские
- **Б. Ахмадулина.** Однажды в декабре
- **С. Гандлевский.** Трепанация черепа
- **В. Соснора.** Дом дней
- **Е. Шварц.** Определение в дурную погоду
- **А. Битов.** Дерево
- **С. Гандлевский.** Поэтическая кухня
- **В. Соснора.** Книга пустот
- **В. Соснора.** Камни NEGERE
- **И. Бродский.** Горбунов и Горчаков
- **Л. Петрушевская.** Карамзин деревенский дневник

**В серии «Имя собственное»
выпущены книги:**

- **К. Победин.** Поэмы эпохи отмены рабства
- **А. Генис.** Темнота и тишина
- **О. Шамборант.** Признаки жизни

Все книги серий тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных книг
обращайтесь в издательство по адресу:

191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».

Информация по телефону: (812) 273-37-24
факс: (812) 273-52-56

**Предлагаем читателям
также следующие книги:**

- **И. Жданов.** Фоторобот запретного мира
- **В. Кальпиди.** Ресницы
- **Б. Ахмадулина.** Зимняя замкнутость
- **Л. Лосев.** Стихотворения из четырех книг
- **А. Ерёмченко.** Горизонтальная страна
- **А. Цветков.** Дивно молвить

Для приобретения указанных книг
обращайтесь в издательство по адресу:

191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».

Информация по телефону: (812) 273-37-24
факс: (812) 273-52-56

Ц 27

Цветков А. Дивно молвить. Собрание стихотворений. — СПб.: «Пушкинский фонд», 2001. — 280 с.

ISBN 5-89803-081-6

ББК 84. P7

Цветков Алексей

Дивно молвить

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 2001

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 071541 от 21 ноября 1997 года

Издательство «Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

Подписано в печать 31.07.2001 г. Формат 60x90 ¹/₁₆. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,5. Заказ № 901.

multiprint
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии

«Полиграфический центр «MULTIPRINT»

190000, Санкт-Петербург, Прачечный пер., 6. Тел./факс 812 315 33 10